

БОГИ ЖАЖДУТ

А. ФРАНС



А. ФРАНС

БОГИ
ЖАЖДУТ





АНАТОЛЬ ФРАНС

БОГИ ЖАЖДУТ

*Перевод Бенедикста Лифшица
Под редакцией Абрама Эфроса
С послесловием Б. Горева*



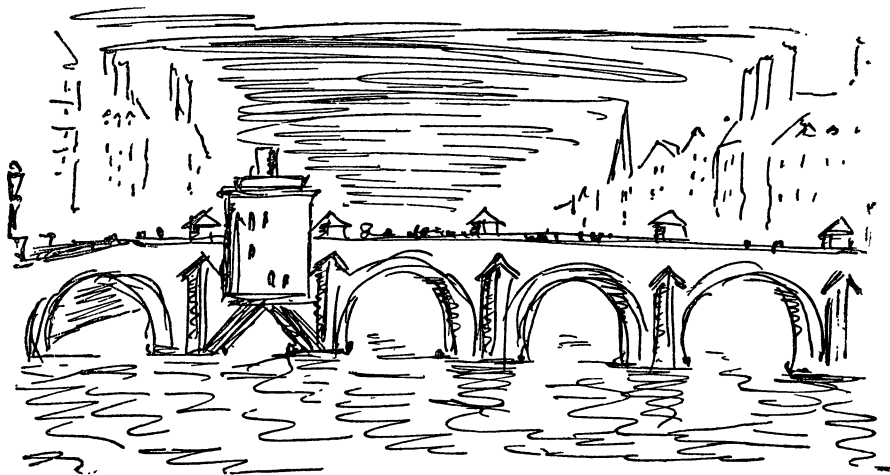
ACADEMIA

МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1 9 3 7

ANATOLE FRANCE
LES DIEUX ONT SOIF

Иллюстрации, заставка, концовка, переплет
Т. Мавриной





I

Эварист Гамлен, художник, ученик Давида, член секции Нового Моста, прежде — секции Генриха IV, ранним утром отправился в бывшую церковь варнавитов, которая в течение трех лет, с 21 мая 1790 г., служила местом общих собраний секции. Церковь эта находилась на тесной, мрачной площади, близ решетки Суда. На фасаде, составленном из двух классических орденов, украшенном опрокинутыми консолями и артиллерийскими ракетами, пострадавшем от времени, потерпевшем от людей, религиозные эмблемы были сбиты, и на их месте, над главным входом, черными буквами вывели республиканский девиз: *Свобода, Равенство, Братство или Смерть*. Эварист Гамлен вошел внутрь: своды, некогда внимавшие богослужениям клириков конгрегации святого Павла, облаченных в стихари, теперь глядели на патриотов в красных колпаках, сходявшихся сюда для выборов муниципальных чиновников и для обсуждения дел секции. Святых вытащили из ниш и заменили бюстами Брута, Жан-Жака и Ле-Пельтье. На разоренном алтаре висела доска с Декларацией Прав Человека.

Здесь-то дважды в неделю, от пяти до одиннадцати вечера, и происходили публичные собрания. Кафедра, декорированная национальными флагами, служила ораторам трибуной. Против нее, направо, соорудили из неотесанных досок помост для женщин и детей, являвшихся в довольно большом числе на эти собрания. В это утро за столом, у самого подножья кафедры, сидел в красном колпаке и карманьоле столяр с Тионвильской площади, гражданин Дюпон-старший, один из двенадцати членов Наблюдательного комитета. На столе стояли бутылка, стаканы, чернильница и лежала тетрадка с текстом петиции, предлагавшей Конвенту изъятие из его лона двадцати двух недостойных членов.

Эварист Гамлен взял перо и подписал.

— Я был уверен,— сказал комитетчик,— что ты присоединишь свою подпись, гражданин Гамлен. Ты настоящий патриот. Но в секции мало пыла; ей нехватает доблести. Я предложил Наблюдательному комитету не выдавать свидетельства о гражданской благонадежности тем, кто не подпишет петиции.

— Я готов своей кровью подписать приговор предателям-федералистам,— сказал Гамлен.— Они хотели смерти Марата: пусть погибнут сами.

— Равнодушие — вот что нас губит,— ответил Дюпон-старший.— В секции, насчитывающей девятьсот полноправных членов, не наберется и полсотни посещающих собрания. Вчера нас было двадцать восемь человек.

— Что ж,— заметил Гамлен,— надо под угрозю штрафа обязать граждан приходить на собрания.

— Ну нет,— возразил столяр, хмуря брови,— если явятся все, то патриоты окажутся в меньшинстве... Гражданин Гамлен, хочешь выпить стаканчик вина за здоровье славных санкюлотов?..

На церковной стене, налево от алтаря, рядом с надписями *Гражданский комитет*, *Наблюдательный комитет*, *Комитет призрения*, красовалась черная рука с вытянутым указательным пальцем, направленным в сторону коридора, соединявшего церковь с монастырем. Немного дальше, над входом в бывшую ризницу, была выведена надпись *Военный комитет*. Войдя в эту дверь, Гамлен увидел секретаря комитета за большим столом, заваленным книгами, бумагами, стальными болванками, патронами и образцами селитроносных пород.

— Привет, гражданин Трюбер. Как поживаешь?

— Я?.. Великолешно.

Секретарь Военного комитета Фортюне Трюбер неизменно отвечал таким образом всем, кто спрашивал о его здоровье, и делал это не столько с целью удовлетворить их любопытство, сколько из желания прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Ему было только двадцать восемь лет, но он уже начинал лысеть и сильно горбился; кожа у него была сухая, на щеках играл лихорадочный румянец. Владелец оптической мастерской на набережной Ювелиров, он продал в девяносто первом году свою давнишнюю фирму одному из старых приказчиков, чтобы всецело отдаться общественным обязанностям. От матери — прелестной женщины, которая скончалась в возрасте двадцати лет и о которой местные старожилы вспоминали с умилением, — он унаследовал красивые глаза, мечтательные и томные, бледность и застенчивость. Отца, ученого оптика, придворного поставщика, умершего, не достигнув тридцати лет, от того же недуга, он напоминал прилежанием и точным умом.

— А ты, гражданин, как поживаешь? — спросил он, продолжая писать.

— Прекрасно. Что нового?

— Ровно ничего. Как видишь, здесь все спокойно.

— Каково положение?

— Положение попрежнему, без перемен.

Положение было ужасно. Лучшая армия республики была блокирована на Майнце; Валансьен — осажден, Фонтене — захвачен вандейцами, Лион восстал, Севенны — тоже, испанская граница обнажена; две трети департаментов были объаты возмущением или находились в руках неприятеля. Париж — без денег, без хлеба, под угрозой австрийских пушек.

Фортюне Трюбер продолжал спокойно писать. Постановлением Коммуны секциям было предложено произвести набор двенадцати тысяч человек для отправки в Вандею, и он был занят составлением инструкций по вопросу о вербовке и снабжении оружием солдат, которых была обязана выставить от себя секция Нового Моста, бывшая секция Генриха IV. Все ружья военного образца должны были быть сданы вновь сформированным отрядам. Национальная же гвардия оставляла себе только охотничьи ружья и пики.

— Я принес тебе,— сказал Гамлен,— список колоколов, которые надлежит отправить в Люксембург для переливки в пушки.

Эварист Гамлен, при всей своей бедности, был полноправным членом секции: по закону избирателем мог быть лишь гражданин, уплачивавший налог в размере трехдневного заработка; для пассивного же избирательного права ценз повышался до суммы десятидневного заработка. Однако секция Нового Моста, увлеченная идеей равенства и ревностно оберегая свою автономию, предоставляла и активное и пассивное право всякому гражданину, приобретшему на собственные средства полное обмундирование национального гвардейца. Именно так обстояло дело с Гамленом, который был полноправным членом секции и членом Военного комитета.

Фортюне Трюбер отложил в сторону перо:

— Гражданин Эварист, ступай в Конвент и потребуй присылки инструкций для обследования почвы в погребах, выщелачивания земли и камней в них и добычи селитры. Пушки—еще не все: нам нужен также и порох.

Маленький горбун, с пером за ухом и бумагами в руке, вошел в бывшую ризницу. Это был гражданин Бовизаж, член Наблюдательного комитета.

— Граждане,— сказал он,— мы получили дурные вести: Кюстин вывел войска из Ландау.

— Кюстин — изменник! — воскликнул Гамлен.

— Он будет гильотинирован,— сказал Бовизаж.

Трюбер прерывающимся голосом заявил с обычным своим спокойствием:

— Конвент недаром учредил Комитет общественного спасения. Там расследуют вопрос о поведении Кюстина. Независимо от того, изменник ли Кюстин или просто человек неспособный, на его место назначат полководца, твердо решившего победить, и ça ira!*

Перебрав несколько бумаг, он скользнул по ним усталым взором:

— Для того, чтобы наши солдаты без смущения и колебаний выполняли свой долг, им необходимо знать, что судьба тех, кого они оставили дома, обеспечена. Если ты, гражданин Гамлен, согласен с этим, то на ближайшем собрании потребуй вместе со мной, чтобы

* все пойдет на лад!

Комитет призрения сообща с Военным комитетом установили выдчу пособий неимущим семьям, родственники которых в армии.

Он улыбнулся и стал напевать:

— Ça ira! Ça ira!

Просиживая по двенадцать, по четырнадцать часов в день за своим некрашеным столом, на страже отечества, находящегося в опасности, скромный секретарь комитета секции не замечал несоответствия между огромностью задачи и ничтожностью средств, бывших в его распоряжении,—настолько чувствовал он себя слитым в едином порыве со всеми патриотами, настолько был он нераздельною частью нации, настолько его жизнь растворилась в жизни великого народа. Он принадлежал к числу тех терпеливых энтузиастов, которые после каждого поражения готовили немислимый и вместе с тем неизбежный триумф. Ведь им следовало победить во что бы то ни стало. Эта голь перекатная, уничтожившая королевскую власть, опрокинувшая старый мир, этот незначительный оптик Трюбер, этот безвестный художник Эварист Гамлен не ждали пощады от врагов. Победа или смерть—другого выбора для них не было. Отсюда—и пыл их и спокойствие духа.

II

Выйдя из церкви варнавитов, Эварист Гамлен направился на площадь Дофина, переименованную в Тионвильскую в честь города, стойко выдерживавшего осаду.

Расположенная в одном из наиболее людных кварталов Парижа, площадь эта уже около века назад утратила свою красивую внешность: особняки, все, как один, из красного кирпича с подпорками из белого камня, сооруженные по трем сторонам ее в царствование Генриха IV для видных магистратов, теперь либо сменили благородные аспидные крыши на жалкие оштукатуренные надстройки в два-три этажа, либо были срыты до основания, бесславно уступив место домам с неправильными, плохо выбеленными фасадами, угбими, грязными, прорезанными множеством узких, не одинакового размера окон, в которых пестрели цветочные горшки, клетки с пги-

цами и сушившееся белье. Дома были густо населены ремесленным людом: золотых дел мастерами, чеканщиками, часовщиками, оптиками, типографами, белошвейками, модистками, прачками и несколькими старымистряпчими, пощаженными шквалом, унесшим представителей королевской юстиции.

Было утро. Была весна. Юные солнечные лучи, пьянящие, как молодое вино, смеялись на стенах и весело пробирались в мансарды. Опускающиеся, как гильотина, оконные рамы все были подняты, и под ними виднелись нечесанные головы хозяек. Секретарь Революционного трибунала, направляясь на службу, мимоходом трепал по щекам детей, игравших под деревьями. На Новом Мосту кричали об измене негодяя Дюмурье.

Эварист Гамлен жил на набережной Башенных Часов, в здании, построенном при Генрихе IV, которое и по сие время сохранило бы довольно привлекательный вид, если бы не маленький чердак, крытый черепицей, надстроенный при предпоследнем тиране. С целью приспособить особняк какого-то старого члена парламента к укладу семей мещан и ремесленников, населявших этот дом, в нем, где только можно было, понастроили перегородок и антресолей. В одной из таких каморок, сильно укороченных в вышину и в ширину, проживал гражданин Ремакль, консьерж и в то же время портной. Сквозь стеклянную дверь с улицы было видно, как он сидел на столе, поджав под себя ноги и упершись затылком в потолок, за шитьем мундира национального гвардейца, между тем как гражданка Ремакль, плита которой не имела другой тяги, кроме лестницы, отравляла жильцов чадом своейстряпни, а на пороге Жозефина, их дочурка, перепачканная патокой, но прелестная, как ясный день, играла с Мутоном, собакой столяра. По слухам, любвеобильная гражданка Ремакль, пышногрудая и пышнобедрая женщина, дарила благосклонностью гражданина Дюпона-старшего, одного из двенадцати членов Наблюдательного комитета. Во всяком случае, муж сильно подозревал ее в этом, и супруги Ремакль оглашали дом бурными ссорами, чередовавшимися с не менее бурными примирениями. Верхние этажи занимали гражданин Шапрон, ювелир, имевший лавку на набережной Башенных Часов, военный лекарь,стряпчий, золотобит и несколько судейских служащих.

Эварист Гамлен поднялся по старинной лестнице на четвертый

и последний этаж, где у него была мастерская с комнаткой для матери. Тут уже кончались деревянные, выложенные изразцами ступени, сменившие широкие каменные ступени нижних этажей. Приставленная к стене лесенка вела на чердак, откуда в эту минуту как раз спускался пожилой толстяк. Румяное лицо его дышало здоровьем. С трудом прижимая к груди огромный сверток, он все же напевал: „Я потерял, увы, слугу...“

Прекратив пение, он учтиво пожелал Гамлену доброго утра. Эварист дружески поздоровался с ним и помог снести вниз пакет, за что старик был ему очень признателен.

— Это,— пояснил он, снова беря свою ношу,— картонные плясуны: я несу их торговцу игрушками на улице Закона. Здесь целый народ, всё — мои создания, я дал им брэнное тело, не знающее ни радостей, ни страданий. Но я не наделил их способностью мыслить, ибо я — бог благодостный.

Это был гражданин Морис Бротто, бывший откупщик и дворянин: его отец, нажившись на делах, купил себе дворянство. В доброе старое время Морис Бротто именовался господином дез-Илетт и в своем особняке на улице Лашез задавал изысканные ужины, которые освещала своим присутствием прелестная мадам де-Рошмор, жена прокурора, превосходная женщина, честно сохранявшая неизменную верность Морису Бротто-дез-Илетт, пока революция не лишила его должностей, доходов, особняка, поместьев, титула. Революция отняла у него все. Ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, рисуя в воротах портреты прохожих, продавая на Сыромятной набережной блины и оладьи собственного изготовления, сочиняя речи для народных представителей, обучая танцам юных гражданок. В настоящее время у себя на чердаке, куда надо было карабкаться по приставной лесенке и где нельзя было выпрямиться во весь рост, Морис Бротто, запасшись горшком с клеем, клубком веревок, ящиком акварельных красок, обрезками картона, мастерил картонных плясунов и сбывал свои изделия оптовикам, а те, в свою очередь, перепродавали их бродячим торговцам игрушками, которые носили их по Елисейским полям на длинных жердях, вызывая своим товаром вожделения ребят. В водовороте общественных событий, невзирая на бедствия, постигшие его лично, Бротто сохранял безмятежную ясность духа и читал, для развлечения, Лукреция, которого всюду таскал с собою в оттопыренном кармане коричневого сюртука.

Эварист Гамлен толкнул входную дверь в свое жилище. Она сразу поддалась. Бедность позволяла ему не заводить замка, и, когда мать, по привычке, задвигала засов, он говорил: „К чему? Никто не станет воровать паутину, а мои картины — тем паче“ *. Покрытые толстым слоем пыли или прислоненные к стене, грудями были свалены в мастерской его первые работы, когда он писал, следуя моде, любовные сцены, робкой, зализанной кистью выводил колчаны без стрел, спугнутых птиц, опасные забавы, мечты о счастье, приподымал юбки у птичниц и расцветчивал розами перси пастушек.

Но эта манера совсем не соответствовала его темпераменту. Холодно трактованные игривые сцены обличали неисправимое целомудрие живописца. Знатоки не ошибались на его счет, и Гамлен никогда не слыл у них мастером эротического жанра. Теперь, хотя он еще не достиг тридцати лет, ему казалось, что сюжеты эти относятся к незапамятным временам. Он видел в них растление нравов, неизбежное при монархическом строе, развращенность двора. Он обвинял себя в том, что сам увлекался столь презренным жанром и под влиянием рабства дошел до нравственного падения. Теперь, гражданин свободной нации, он мощными штрихами набрасывал фигуры Свобод, Прав Человека, французских Конституций, республиканских Добродетелей, народных Гераклов, повергающих наземь гидру Тирании, и вкладывал в эти произведения весь свой патриотический пыл. Увы, и эти картины не давали ему средств к существованию. Времена для художников были тяжелые. И, разумеется, не по вине Конвента, рассылавшего во все стороны свои армии против королей; гордого, неустрашимого Конвента, не отступившего перед сплоченной Европой, вероломного и безжалостного по отношению к самому себе; Конвента, раздиравшего себя собственными руками, провозгласившего очередной задачей террор, учредившего для наказания заговорщиков беспощадный Трибунал, с тем, чтобы вскоре отдать ему на съедение собственных членов, и в то же время спокойного, вдумчивого друга наук и всего прекрасного; Конвента, реформировавшего календарь, основывавшего специальные школы, объявлявшего конкурсы живописи и ваияния, учредившего премии для поощрения художников, устраивавшего ежегодные выставки, открывшего Музей и, по примеру Афин и Рима, придававшего торжествен-

* Игра слов: *toile d'araignée* — паутина; *toile* — холст, картина.

ный характер общественным празднествам и дням народного траура. Но французское искусство, когда-то пользовавшееся таким успехом в Англии, в Германии, в России и в Польше, не находило теперь сбыта за границей. Любители живописи, ценители искусства, вельможи и финансисты, были разорены, эмигрировали или скрывались. Люди же, которых революция обогатила,—крестьяне, скупавшие государственные земли, спекулянты, поставщики армий, держатели игорных домов в Пале-Рояле—еще не отваживались выставить напоказ свое богатство да к тому же совсем не интересовались живописью. Чтобы продать картину, нужно было обладать известностью Реньо или ловкостью молодого Жерара. Грёз, Фрагонар, Гуэн дошли до нищеты. Прюдому с трудом удавалось прокормить жену и детей, делая рисунки, которые Копиа гравировал пунктиром. Художники-патриоты, Эннекен, Викар, Топино-Лебрэн, голодали. Гамлен, у которого не было средств ни на оплату натурщика, ни на покупку красок, поневоле оставил, едва приступив к работе, огромное полотно, изображавшее „Тираца, преследуемого фуриями в аду“. Оно занимало половину мастерской своими незаконченными, страшными, больше натуральной величины, фигурами и множеством зеленых змей с изогнутыми раздвоенными жалами. На переднем плане, слева, стоял в лодке худой, свирепого вида Харон—мощный, прекрасно прорисованный кусок, в котором, однако, чувствовалось влияние школы. Гораздо больше даровитости и естественности было в другой картине, меньших размеров, тоже незаконченной и висевшей в самом светлом углу мастерской. Она изображала Ореста, которого его сестра Электра приподымает на ложе скорби. Молодая девушка трогательным жестом поправляла брату спутанные волосы, падающие ему на глаза. Голова Ореста была трагически прекрасна, и в ней нетрудно было уловить сходство с лицом художника.

Гамлен часто печально глядел на композицию. Порою его руки, дрожавшие от желания схватить кисть, тянулись к смело набросанной фигуре Электры, но сразу же беспомощно опускались. Художник горел энтузиазмом и был полон великих замыслов. Но ему приходилось тратить силы на выполнение заказов, которые удавались ему весьма посредственно, потому что он должен был удовлетворять пошлым вкусам толпы, а также и потому, что не умел сообщать отпечаток таланта всяким пустякам. Он рисовал маленькие аллегорические картинки, которые его товарищ Демаи довольно

искусно гравировал в одну или несколько красок и которые за бесценок скупал гражданин Блез, торговец эстампами на улице Оноре. Но продажа эстампов шла изо дня в день хуже и хуже, уверял Блез, с некоторого времени уже не желавший ничего приобретать.

На этот раз, однако, Гамлену, которого нужда делала изобретательным, пришла в голову счастливая и, так по крайней мере казалось ему, новая мысль, осуществление которой должно было обогатить торговца эстампами, гравера и его самого. Речь шла о колоде патриотических карт, в которой короли, дамы и валеты старого режима были бы заменены Гениями, Свободами и Равенствами. Он сделал наброски всех фигур, большинство закончил совсем, и торопился сдать Демаи те, которые можно было гравировать. Фигура, казавшаяся ему наиболее удачной, представляла собой волонтера в треуголке, синем с красными отворотами мундире, желтых штанах и черных гетрах; он сидел на барабане, зажав ружье между колен и упершись ногами в кучу ядер. Это был „гражданин червей“, явившийся на смену валету червей. Уже больше полугода рисовал Гамлен волонтеров, и все с тем же увлечением. В дни всеобщего подъема он продал несколько рисунков. Остальные висели на стенах в мастерской. Пять-шесть набросков, исполненных акварелью, гуашью, двухцветным карандашом, валялись на столе и на стульях. В июле девяносто второго года, когда на всех парижских площадях были воздвигнуты помосты для вербовки солдат, когда из всех кабачков, украшенных гирляндами, неслись крики: „Да здравствует нация! Жить свободно или умереть!“ — Гамлен, проходя по Новому мосту или мимо ратуши, всем существом рвался туда, к убранному национальными флагами шатру, где магистраты в трехцветных повязках, под звуки марсельезы, производили запись добровольцев. Но, поступив в армию, он оставил бы мать без куска хлеба.

Тяжело дыша, так что ее было слышно еще за дверью, вся красная, взволнованная, обливаясь потом, вошла в мастерскую гражданка вдова Гамлен. Национальная кокарда, небрежно приколотая ею к чепцу, могла упасть каждую минуту. Поставив на стул корзину, она остановилась, чтобы передохнуть, и стала жаловаться на дороговизну продуктов.

При жизни мужа гражданка Гамлен торговала ножевыми изделиями на улице Гренель-Сен-Жермен, под вывеской „Город Шательро“, а теперь, находясь на иждивении сына-художника, вела

его скромное хозяйство. Эварист был старший из двух ее детей. О дочери Жюли, бывшей модистке с улицы Оноре, лучше было и не спрашивать: она бежала за границу с аристократом.

— Господи боже мой,—вздыхнула гражданка, показывая сыну серую, плохо пропеченную ковригу,—хлеб все дорожает, да он теперь и не чистый пшеничный. На рынке не найти ни яиц, ни овощей, ни сыру. А питаюсь каштанами, сам станешь каштановым.

Сделав довольно большую паузу, она продолжала:

— Я видела на улице женщин, которым нечем кормить младенцев. Для бедняков наступили времена ужасной нужды. И так оно будет до тех пор, пока не восстановится порядок.

— Мама,—хмуро сдвинул брови Гамлен,—в недостатке съестных припасов, от которого мы все страдаем, виноваты скупщики и спекулянты: они морят голодом народ и вступают в соглашения с внешними врагами, стараясь вызвать у граждан ненависть к республике и уничтожить свободу. Вот к чему приводят заговоры приверженцев Бриссо, предательство Петтионов и Роланов! Хорошо еще, что федералисты с оружием в руках не явятся в Париж и не перебьют патриотов, не успевших погибнуть от голода. Нельзя терять ни минуты: необходимо установить твердые цены на муку и гильотинировать всех, кто спекулирует пищевыми продуктами, сеет в народе смуту или завязывает преступные сношения с заграницей. Конвент только что учредил Чрезвычайный трибунал для дел о заговорах. В него входят одни лишь патриоты, но хватит ли у них энергии, чтобы защищать отечество от всех его врагов? Будем надеяться на Робеспьера: он добродетелен. В особенности будем надеяться на Марата: он любит народ, понимает его подлинные нужды и служит им. Он первый всегда разоблачал изменников, раскрывал заговоры. Он неподкупен и неустрашим. Он один способен спасти республику, которой угрожает гибель.

Гражданка Гамлен покачала головой и уронила кокарду.

— Полно, Эварист: твой Марат такой же человек, как и все, и ничем не лучше других. Ты молод, ты увлекаешься. То, что ты сейчас говоришь о Марате, ты говорил прежде о Мирабо, о Лафайете, Петтоне, Бриссо.

— Никогда этого не было!—запротестовал Гамлен, искренно позабыв о недавнем прошлом.

Очистив местечко на некрашеном деревянном столе, завален-

ном бумагами, книгами, кистями и карандашами, гражданка Гамлен поставила фаянсовый супник, две оловянных миски и кружку дешевого вина, затем положила две железных вилки и пеклеванный хлеб.

Сын и мать молча съели суп и завершили трапезу кусочком свиного сала. Мать степенно подносила к беззубому рту на кончике карманного ножа ломтики хлеба с салом и с уважением прожевывала пищу, стойшую так дорого.

Большую часть она оставила сыну, но тот глубоко о чем-то задумался и казался рассеянным.

— Ешь, Эварист,— говорила она ему время от времени,— ешь.

И эти слова звучали в ее устах торжественно, как некая заповедь.

Она снова принялась жаловаться на дороговизну жизни. Гамлен еще раз заявил, что твердые цены — единственный выход из положения.

— Ни у кого уже нет денег,— возражала она.— Эмигранты все забрали. И верить больше некому. Есть от чего придти в отчаяние.

— Перестаньте, мама, перестаньте! — накинулся на нее Гамлен.— Разве можно придавать значение временным лишениям и невзгодам? Революция навсегда осчастливит род человеческий!

Старушка обмакнула ломтик хлеба в вино: на душе у нее отлегло, и она с улыбкой стала вспоминать времена своей молодости, когда в день рождения короля она плясала на открытом воздухе. Ей пришел на память тот день, когда Жозеф Гамлен, ножовщик по профессии, посватался к ней. И она обстоятельно стала излагать, как это произошло. Мать сказала ей: „Одевайся. Мы сейчас отправимся на Гревскую площадь в магазин господина Бьенасси, ювелира, и посмотрим, как будут четвертовать Дамьена“. Им с трудом удалось пробраться сквозь толпу любопытных. У Бьенасси молодая девушка встретила Жозефа Гамлена, в прекрасном розовом полукафтоне, и сразу догадалась, к чему идет дело. Все время, пока она смотрела в окно, как царубийцу терзали щипцами, обливали расплавленным свинцом, разрывали на части, привязав к четырем лошадям, и наконец бросили в огонь, Жозеф Гамлен, стоя сзади, не переставал восхищаться цветом ее лица, прической, стройностью ее фигуры.

Осушив до дна стакан, она продолжала мысленно переживать свою жизнь.

— Я родила тебя, Эварист, раньше чем ожидала... потому, что я испугалась, когда меня, беременную, чуть не сбили с ног на Новом мосту любопытные, торопившиеся на казнь де-Лалли. Ты появился на свет совсем крохотным, и лекарь не думал, что ты выживешь. Но я-то не сомневалась, что господь по милости своей сохранит мне тебя. Я воспитывала тебя как только могла, не жалея ни трудов, ни затрат. Надо сказать правду, Эварист, ты всегда выказывал мне признательность и уже с детских лет старался отплатить мне за мои заботы чем только мог. Ты от рождения был кроток и ласков. У твоей сестры тоже не злое сердце, но она отличалась себялюбием и вспыльчивостью, ты был жалостливее ее ко всем несчастным. Когда соседские мальчишки-шалуны разоряли птичьи гнезда, ты старался вырвать у них птенцов, чтобы вернуть их матерям, и нередко случалось так, что ты отступал от этого лишь после того, как тебя валили наземь и беспощадно избивали. Семилетним ребенком, никогда не вступая в драку с сорванцами, ты спокойно шел по улице, повторяя про себя катехизис; всех нищих, попадавшихся тебе навстречу, ты приводил домой, чтобы я помогла им; мне даже пришлось высечь тебя, чтобы отучить от этой привычки. Ты не мог смотреть без слез на чьи-либо страдания. Когда ты вырос, ты стал очень хорош собою. К великому моему удивлению, ты как будто не догадывался об этом, в отличие от большинства смазливых молодых людей, которые щеголяют и гордятся своей наружностью.

Старушка говорила правду. В двадцать лет у Эвариста было очаровательное и вместе с тем серьезное лицо; это была женственно-строгая красота, черты Минервы. Теперь его темные глаза и бледные щеки свидетельствовали о глубокой печали и затаенных страстях. Но взгляд его, когда он посмотрел на мать, принял на мгновение то кроткое выражение, которое ему было свойственно в юности.

Она продолжала:

— Ты мог воспользоваться своей привлекательностью и ухаживать за девушками, но ты предпочитал оставаться со мною в лавке, так что иногда я сама предлагала тебе не держаться за мою юбку, а развлечься с товарищами. И на смертном одре я повторяю, Эварист, что ты хороший сын. После кончины отца ты не боялся взять на себя заботы обо мне; хотя твоя профессия не приносит почти ничего, я благодаря тебе не знала, что такое нужда,

и если теперь мы с тобою разорены и обнищали, я тебя не упрекаю: виною всему революция.

У него вырвался жест протеста, но она, пожав плечами, продолжала:

— Я не аристократка. Я знавала власть имущих, когда сила была на их стороне, и могу сказать, что они злоупотребляли своими привилегиями. На моих глазах слуги герцога Каналейля избили палками твоего отца за то, что он недостаточно быстро посторонился и уступил дорогу их господину. Я не любила австриячки: она была слишком высокомерна и расточительна. Короля, правда, я считала неплохим человеком и только после его процесса и осуждения переменила мнение о нем. Словом, я не жалею о старом режиме, хотя и при нем я знавала кой-какую радость. Но не говори мне, что революция установит равенство: люди никогда не будут равны. Это невозможно, хотя бы вы всё в стране перевернули вверх дном: всегда будут люди знатные и безвестные, жирные и тощие.

Говоря, она убирала посуду. Художник уже не слушал ее. Он искал силуэт санкюлота в красном колпаке и карманьоле, который должен был в его колоде заменить упраздненного валета пик.

Кто-то постучался в дверь, и на пороге показалась молодая крестьянка, коренастая, занимавшая больше места в ширину, чем в высоту, рыжая, кривоногая, с бельмом на левом глазу; правый глаз, бледноголубого цвета, казался совсем белым; непомерно толстые губы были оттопырены торчащими вперед зубами.

Обратившись к Гамлену, она осведомилась, не он ли художник и не согласится ли он написать портрет ее жениха, Феррана (Жюля), волонтера Арденнской армии.

Гамлен ответил, что он охотно сделает портрет, когда доблестный воин вернется в Париж.

Девушка кратко, но вместе с тем настойчиво, продолжала упрашивать, чтобы он сделал это тут же. Художник, невольно улыбнувшись, возразил, что без оригинала это совершенно невозможно.

Бедняжка ничего не ответила: она не предвидела такого затруднения. Склонив голову на левое плечо, скрестив руки на животе, она не трогалась с места и молчала, повидимому, удрученная горем. Ее простодушие тронуло и привело в веселое настроение Гамлена; желая развлечь незадачливую влюбленную, он сунул ей

акварельный рисунок, изображавший волонтера, и спросил, не поминает ли он ей жениха, находящегося в Арденнах.

Она устремила на бумагу тусклый взор; мало-помалу ее зрячий глаз оживился, потом разгорелся, весь просиял; широкое лицо расплылось в счастливую улыбку.

— Да, это он и есть,— выговорила она наконец.— Это Ферран Жюль, как живой, вылитый Ферран Жюль.

Прежде чем художник успел забрать у нее рисунок, она толстыми красными пальцами бережно сложила его, так что он превратился в небольшой квадратик, и, сунув себе за пазуху между рубахой и корсажем, вручила Гамлену ассигнацию в пять ливров, пожелала присутствующим всего хорошего и вперевалку быстро вышла из комнаты.

III

В тот же день, после обеда, Эварист отправился в гражданину Жану Блезу, торговавшему под вывеской „Амур-Художник“ не только эстампами, но также ларцами, картонажами и всякого рода играми, на улице Оноре, напротив Оратории, неподалеку от Почтовой конторы. Лавка помещалась в нижнем этаже старого дома, построенного лет шестьдесят тому назад. Над сводчатым пролетом входной двери находилось лепное украшение в виде рогатой головы человекоподобного чудовища, а самая фрамуга была заполнена картиной, писанной маслом и изображавшей „Сицилийца, или Амура-Художника“;— копией с картины Буше, повешенной отцом Жака Блеза еще в 1770 году и с тех пор сильно пострадавшей от солнца и дождей. По обе стороны двери оконные пролеты были украшены наверху головами нимф, а в окнах, за самыми большими стеклами, какие только нашлись в Париже, были выставлены модные эстампы и последние новинки в области цветной гравюры. В тот день там можно было видеть любовные сцены, грациозно, но, пожалуй, с излишней сухостью изображенные Буальи: „Уроки супружеской любви“ и „Кроткое сопротивление“, возмущавшие якобинцев и служившие поводом к доносам, которые наиболее ревностные из них делали в Обществе искусств; „Народное

гулянье“ Дебюкура, с щеголем в панталонах канареечного цвета, рассеявшимся на трех стульях; коней работы молодого Карла Верне, аэростаты, „Купанье Виргинии“ и копии с произведений античной скульптуры.

Из числа граждан, непрерывным потоком проплывавших мимо лавки, дольше всех простаивали перед обеими соблазнительными витринами самые оборванные: наиболее впечатлительные, падкие на всякие зрелища, они старались хотя бы только глазами завладеть своей долей наслаждения в этом мире; раскрыв от восхищения рот, они замирали на месте, между тем как аристократы, скользнув небрежным взором, змурили брови и проходили мимо.

Издав еще, едва завидя дом, Эварист устремил взгляд на одно из окон второго этажа, на то, что было налево от входа и в котором за узорной железной решеткой стоял горшок красной гвоздики. Это окно освещало комнату Элоди, дочери Жана Блеза. Торговец эстампами занимал со своей единственной дочерью весь этаж над лавкой.

Задержавшись перед входом как будто для того, чтобы перевести дух, Эварист повернул дверную ручку. Гражданка Элоди только что продала две гравюры Фрагонара-сына и Нежона, которые покупатель тщательно выбрал среди других; прежде чем спрятать в ящик полученные ассигнации, она поочередно подносила их к своим красивым глазам, внимательно рассматривая на свет водяные знаки, полосы и сетку, так как в то время в обращении находилось столько же фальшивых денежных знаков, сколько и настоящих, что наносило большой ущерб торговле. Фальшивомонетчики карались смертной казнью, как некогда преступники, поддельвавшие королевскую подпись; тем не менее доски для печатания ассигнаций находили в каждом погребе; швейцарцы миллионами ввозили фальшивые ассигнации во Францию, их разбрасывали пачками в харчевнях; англичане ежедневно выгружали на нашем берегу целые тюки поддельных билетов, чтобы дискредитировать республику и повергнуть патриотов в нищету. Элоди боялась, что ей всучат фальшивую бумажку, но еще больше боялась, как бы самой не сбыть поддельную ассигнацию и не прослыть таким образом сообщницей Питта. Однако она полагалась на свою счастливую звезду и была уверена, что всегда сумеет выкрутиться.

Эварист посмотрел на нее с тем мрачным видом, который лучше



всяких улыбок говорит о любви. Она взглянула на него с чуть-чуть насмешливой гримасой, слегка прищуриив черные глаза; придала же она своему лицу такое выражение, во-первых, потому, что сознавала себя любимой, причем это вовсе не было ей неприятно; во-вторых, потому, что такое выражение лица подзадоривает влюбленного, побуждает его изливаться в жалобах, приводит к объяснению, если он этого еще не сделал, а в данном случае так оно и было.

Спрятав ассигнации в ящик, она достала из рабочей корзинки белый шарф, который вышивала, и принялась за рукоделье. Она была трудолюбива и кокетлива и, так как, сидя за иглой, инстинктивно преследовала две цели одновременно: понравиться мужчине и изготовить себе наряд, то вышивала различно, в зависимости от того, кто смотрел на нее: она вышивала небрежно при тех, кого ей хотелось истомить сладостным ожиданием; она вышивала капризно при тех, кого ей было приятно довести до отчаянья. Теперь она притворилась, будто вся ушла в работу, так как в Эваристе она желала пробудить серьезное чувство.

Элоди не была ни слишком молода, ни слишком хороша собой. С первого взгляда она могла показаться некрасивой. Брюнетка, с оливковым цветом лица, она небрежно повязывала голову белой косынкой, из-под которой выбивались иссиня-черные локоны и сверкали, как угли, темнокарие глаза. В ее круглом, веселом лице, немного курносом, с выступающими скулами, грубоватом и страстном, художник находил сходство с головою фавна Боргезе, слепок с которой приводил его в восторг своей божественно-шаловливой улыбкой. Усики оттеняли страстность ее рта. Под косынкой, по моде того года повязанной накрест, вздымалась, словно от избытка нежности, высокая грудь. Ее гибкая талия, проворные ноги, все ее сильное тело двигалось с очаровательно-дикой грацией. Взгляд, дыхание, трепет плоти — все в ней говорило сердцу и обещало любовь. За прилавком она казалась нимфой танца, оперной вакханкой, у которой отняли рысью шкуру, тирс и венок из плюща, чтобы чудесным образом превратить ее в скромную хозяйку в духе Шардена.

— Отца нет дома,— сказала она художнику.— Подождите немного: он скоро вернется.

Смутные маленькие ручки быстро продевали иглу сквозь тонкий батист.

— Правится вам этот рисунок, господин Гамлен?

Гамлен не умел притворяться, да и любовь, придавая ему смелость, побуждала его быть откровенным.

— Вы вышиваете очень искусно, гражданка, но, если вам угодно выслушать мое мнение, узор, который вам сделали, недостаточно прост, недостаточно строг и отзывается вычурным вкусом, слишком долго господствовавшим во Франции в искусстве отделки тканей, мебели, панелей. Эти банты, эти гирлянды напоминают бессодержательный, пошловатый стиль, пользовавшийся успехом при последнем тиране. Вкус возрождается. Увы! мы начинаем издалека. В эпоху гнусного Людовика XV в декоративное искусство проникли китайские влияния. Комоды делали пузатыми, с изогнутыми, нелепыми ручками, и годны они лишь на то, чтобы топить ими печи патриотов. Прекрасна только простота. Необходимо вернуться к древности. Давид делает рисунки кроватей и кресел, заимствуя мотивы с этрусских ваз и фресок Геркуланума.

— Я видела эти кровати и кресла,— подхватила Элоди,— они восхитительны! Скоро на другую мебель никто и смотреть не захочет. Как и вы, я обожаю древность.

— Ну так вот, гражданка,— продолжал Эварист,— если бы вы украсили свой шарф греческим орнаментом, листьями плюща, змеями или скрещенными стрелами, он был бы достоин спартанки... и вас. Вы, впрочем, могли бы сохранить и этот узор, упростив его и сделав более прямолинейным.

Она спросила, что, по его мнению, следовало бы отбросить.

Он наклонился над шарфом: локоны Элоди коснулись его щеки. Руки их встречались, перебирая батист, их дыхание смешалось. Эварист испытывал в эту минуту бесконечную радость, но, чувствуя губы Элоди так близко от своих губ, он побоялся оскорбить девушку и быстро отстранился.

Гражданка Блез любила Эвариста Гамлена. Она находила великодушными его большие горящие глаза, его красивое продолговатое лицо, его бледность, густые черные волосы, разобранные на пробор и волнами падавшие на плечи, его важную осанку, холодный вид, суровость его обращения, уверенную речь, свободную от всякой лести. И так как она любила его, ей казалось, что он обладает талантом великого художника, который рано или поздно проявится в чудесных произведениях искусства и прославит его имя. Мысль об этом усиливала ее любовь. Гражданка Блез не была поклон-

ницей мужской скромности: ее нравственное чувство несколько не было бы задето, если бы мужчина, уступив голосу страсти, удовлетворил свои желания. Она любила целомудренного Эвариста; она любила его вовсе не за целомудрие, но тем не менее видела в этом известное преимущество: с ним она никогда не узнала бы ни ревности, ни подозрений, и ей не пришлось бы опасаться соперниц.

Однако в эту минуту она находила, что он слишком сдержан. Если Расинова Аридия, влюбленная в Ипполита, восхищалась суровой добродетелью юного героя, она все же не теряла надежды восторжествовать и пришла бы в отчаяние от строгости нравов, окажись Ипполит более стойким. И как только представился случай, она почти призналась ему в любви, чтобы вырвать ответное признание. Подобно нежной Аридии, гражданка Блез была недалеко от мысли, что в любви женщина должна брать на себя почин. „Самые любящие,— думала она,— вместе с тем и самые робкие: они нуждаются в поддержке и поощрении. Их наивность так велика, что женщина может пойти очень далеко навстречу мужчине, а он и не заметит этого, если только ему оставить иллюзию, будто он смело повел атаку и одержал славную победу“. В конечном исходе дела она несколько не сомневалась, с тех пор как узнала наверняка (на этот счет у нее не было никаких сомнений), что Эварист, пока революция не превратила его в героя, любил, как любят все смертные, одну женщину, убогое создание, привратницу Академии.

Элоди, которую никак нельзя было назвать простушкой, различала несколько видов любви. Чувство, внушенное ей Эваристом, было достаточно глубоко, чтобы серьезно задуматься над вопросом о браке. Она охотно вышла бы за него замуж, но опасалась, что отец не согласится на союз единственной дочери с бедным и безвестным живописцем. У Гамлена не было ничего, торговец же эстампами был крупным денежным воротилой. „Амур-Художник“ приносил ему немало дохода, биржевая игра — еще больше, а в последнее время он вступил в компанию с подрядчиком, поставлявшим в кавалерийские части камыш, вместо сена, и подмоченный овес. Наконец, сын ножевщика с улицы Сен-Доминик был совсем незначительным человеком по сравнению с издателем эстампов, известным всей Европе, находившимся в родстве с Блезо, Базанами, Дидо,

бывавшим запросто у граждан Сен-Пьера и Флориана. Не то, чтобы Элоди как послушной дочери представлялось необходимым, устраивая свою судьбу, считаться с волею отца,— Жан Блез, человек алчный, легкомысленный, большой волокита и большой делец, рано овдовев, никогда не уделял ей особенного внимания; с детства он предоставил ей полную свободу, не навязывал своих советов, дружбы и не только не наблюдал за поведением дочери, а, напротив, старался ничего не замечать, хотя, в качестве знатока женщин, высоко ценил ее пылкий темперамент и умение пленять сердца — в своем роде более могущественное орудие, чем хорошенькое лицо. Слишком любвеобильная натура, чтобы беречь себя, слишком рассудительная, чтобы себя погубить, благоразумная даже в своих безумствах, она, принося дань страсти, никогда не забывала требований приличия. Отец был ей чрезвычайно благодарен за эту осторожность, и так как она унаследовала от него коммерческие способности и дух предприимчивости, он не интересовался таинственными причинами, удерживавшими от брака вполне созревшую девушку, и ничего не имел против того, что Элоди оставалась дома, где она стояла экономки и четырех приказчиков. В двадцать семь лет она сознавала себя достаточно взрослой и опытной, чтобы самой устраивать свою жизнь, и не видела никакой нужды спрашивать совета или следовать воле отца, молодого, легкомысленного и рассеянного. Однако стать женою Гамлена она могла бы лишь в том случае, если бы господин Блез устроил судьбу своего бедного зятя, сделал его участником фирмы, обеспечил работой, как обеспечивал уже многих художников, наконец дал бы ему тем или иным способом средства к существованию; но она считала невозможным, чтобы отец предложил молодому человеку такую поддержку и чтобы тот согласился принять ее: слишком уж мало симпатии питали они друг к другу.

Обстоятельство это ставило в крайне затруднительное положение мягкосердечную и умную Элоди. Ее ничуть не пугала мысль соединиться тайными узами со своим возлюбленным, призвав творца природы в качестве единственного свидетеля их взаимной верности. Она, со своими взглядами на жизнь, не находила ничего предосудительного в таком союзе, вполне осуществимом при той свободе, которой она пользовалась: с честным и добродетельным Эваристом он был бы вполне прочен; но Гамлен с трудом добывал себе средства к существованию и должен был еще содержать старуху-

мать: при такой бедности в сердце у него, повидимому, не оставалось места для любви, даже самой простой. К тому же Эварист еще не объяснился ей, ни словом не обмолвился о своих намерениях. Гражданка Блез, однако, надеялась, что ей скоро удастся вызвать его на признание.

— Гражданин Эварист,— сказала Элоди, разом прервав ход своих мыслей и работу,—этот шарф придется мне по вкусу только в том случае, если он придется по вкусу и вам. Нарисуйте мне, прошу вас, узор. А пока я, как Пенелопа, распорю то, что сделала без вас.

— Хорошо, гражданка,— ответил он с мрачным одушевлением.— Я нарисую вам меч Гармония: шпагу, перевитую гирляндой.

Достав карандаш, он принялся набрасывать орнамент из мечей и цветов, в строгом, суровом стиле, который он так любил. И в то же время он излагал свои взгляды на искусство.

— Духовно переродившиеся французы,— говорил он,— должны отказать от рабского наследия: от дурного вкуса, дурной формы, дурного рисунка. Ватто, Буше, Фрагонар работали на тиранов и на рабов. В их произведениях нет чувства подлинного стиля, чистоты линий, нет ни естественности, ни правды. Маски, куклы, тряпки, кривлянье! Потомство с презрением отнесется к их легкомысленной мазне. Через сто лет картины Ватто, всеми забытые, истлеют на чердаках, в 1893 году ученики художественных школ покроют своими набросками полотно Буше. Давид указал нам новые пути: он приближается к искусству древности, но он еще недостаточно прост, недостаточно велик, недостаточно строг. Нашим живописцам надо еще многому учиться на фресках Геркуланума, на римских барельефах, на этрусских вазах.

Он долго еще говорил об античной красоте, затем возвратился к Фрагонару, которого ненавидел всей душой.

— Вы его знаете, гражданка?

Элоди утвердительно кивнула головой.

— Вы, конечно, знаете и старичка Грёза: он довольно смешон в своем пунцовом полукафтани и со шпагой на боку. Но он производит впечатление древнегреческого мудреца по сравнению с Фрагонаром. Недавно я встретил под арками Пале-Эгалите, этого негодяя: он семенил куда-то, напудренный, галантный, вертлявый, игривый, омерзительный. При виде жалкого старика я пожелал, что-

бы, за отсутствием Аполлона, какой-нибудь рьяный ревнитель искусства повесил его на дереве, предварительно содрав с него кожу, как с Марсия, в вечное назидание плохим живописцам.

Элоди пристально посмотрела на него веселым и страстным взглядом.

— Вы умеете ненавидеть, господин Гамлен... Значит ли это, что вы умеете и лю...

— Это вы, Гамлен? — послышался тенор, голос гражданина Блеза, который вошел в лавку, скрипя сапогами, звеня брелоками; полы его сюртука развевались, на голове у него была огромная черная треуголка, загнутые края которой доходили ему до плеч.

Элоди, взяв рабочую корзинку, поднялась к себе в комнату.

— Ну что, Гамлен,— спросил гражданин Блез,— принесли что-нибудь новенькое?

— Может быть,— ответил художник.

И изложил свою идею:

— Наши игральные карты находятся в вопиющем противоречии с современными нравами. Названия „валет“ и „король“ оскорбляют слух патриота. Я придумал и сделал рисунки для новой колоды революционных карт, в которой короли, дамы, валеты заменены Свободами, Равенствами, Братствами; тузы, окруженные ликторскими связками, называются Законами... Вы объявляете Свободу треф, Равенство пик, Братство бубен, Закон червей... Мне кажется, эти карты достаточно хорошо нарисованы. Я намерен поручить Демаи выгравировать их на меди, а там возьму патент.

Достав из папки несколько акварельных рисунков, художник протянул их торговцу эстампами.

Но гражданин Блез, даже не взглянув, отказался принять их.

— Отнесите это, мой друг, в Конвент: там это вызовет гром рукоплесканий. Но не надейтесь извлечь хотя бы су из вашего нового изобретения, тем более что оно не ново. Вы немного опоздали. Ваша революционная колода — третья по счету, которую мне приносят. Ваш товарищ Дюгур на прошлой неделе предложил мне колоду для игры в пикет с четырьмя Гениями, четырьмя Свободами, четырьмя Равенствами. Меня пытались соблазнить еще другой колодой, где были мудрецы, герои, Катон, Руссо, Ганнибал — всех не упомнишь... Все эти карты, мой друг, имели перед вашими одно преимущество: они были грубо нарисованы и вырезаны на дереве

перочинным ножом. Мало же вы знаете людей, если думаете, что игроки станут употреблять карты с рисунками в стиле Давида, гравированными в манере Бартолоцци! Да и вообще, это странное заблуждение предполагать, будто нужно столько церемоний, чтобы приспособить старую колоду к современным идеям. Добрые санкюлоты сами отлично исправляют ее непатриотичность, провозглашая: „Тиран!“ или просто: „Толстый боров!“ Они довольствуются своими старыми замусоленными картами и не покупают новых. В притонах Пале-Эгалите идет игра чуть ли не круглые сутки: советуем вам — отправляйтесь туда и предложите крупье и понтерам ваши Свободы, ваши Равенства, ваши... как вы называете их... ваши Законы червей, а потом расскажите мне, как вас там приняли!..

Гражданин Блез сел на прилавок, несколькими щелчками стряхнул с нанковых панталон просыпавшийся на них табак и с кротким сожалением посмотрел на Гамлена.

— Разрешите дать вам один совет, гражданин художник: если вы хотите заработать себе на жизнь, оставьте ваши патриотические карты, оставьте ваши революционные символы, ваших Гераклов, Гидр, Фурий, преследующих преступника, гениев Свободы и пишите красивых девушек. Гражданский пыл у всех с течением времени остывает, но мужчинам всегда будут нравиться женщины. Рисуйте же румяных красоток, с маленькими ножками, с маленькими ручками, и поймите, что никто уже не интересуется революцией и что о ней и слышать не хотят.

Эварист вскочил, как ужаленный:

— Что? О революции и слышать не хотят?.. Но разве упрочение свободы, победы наших армий, наказание тиранов, разве все эти события не будут вызывать изумление у самых отдаленных потомков? Как же мы можем не поражаться ими?.. Как? Секта санкюлота Иисуса просуществовала около восемнадцати веков, а культ Свободы будет уничтожен, не продержавшись и четырех лет!

— Вы живете мечтами,— с видом явного превосходства возразил Жан Блез,— я же реальной жизнью. Поверьте, друг мой, революция надоела: она затянулась слишком долго. Пять лет энтузиазма, пять лет братских объятий, убийств, разглагольствований, марсельезы, набата, аристократов на фонарях, голов на пиках, женщин верхом на пушках, деревьев Свободы, увенчанных красными колпаками, девушек и старцев в белых одеяниях на колесницах, разубранных

цветами, пять лет заточений в тюрьмах, гильотины, пайков, афиш, кокард, султанов, бряцанья оружием, карманьол...—хватит! В конце концов, никто уже ничего не понимает. Насмотрелись мы на великих людей, которых вы лишь затем вводили в Капитолий, чтобы сбросить их потом с Тарпейской скалы! Видели мы всех этих Неккеров, Мирабо, Лафайетов, Байльи, Петтионов, Манжюэлей и столько других. Кто поручится, что вы не готовите той же участи вашим новым героям?.. Теперь ничему уже нельзя верить!

— Назовите, гражданин Блез, назовите мне героев, которых мы собираемся принести в жертву!—воскликнул Гамлен тоном, напомнившим торговцу эстампами, что надо быть осторожнее.

— Я республиканец и патриот,—возразил он, прижимая руку к сердцу.—Я такой же республиканец, как вы, такой же патриот, как вы, гражданин Эварист Гамлен. Я не сомневаюсь в вашей преданности республике и не думаю обвинять вас в непостоянстве. Но знайте и вы, что моя благонамеренность и преданность общему делу неоднократно доказаны мною на деле. Вот мои политические убеждения: я отношусь с доверием к каждому, кто способен служить нации. Я преклоняюсь перед людьми, которых, как Марата, как Робеспьера, глас народа облек опасной честью, возложив на них бремя законодательной власти; в меру отпущенных мне слабых сил я готов помогать им как добропорядочный гражданин, усиленно оказывая мое скромное содействие. Комитеты могут засвидетельствовать мое рвение и мою преданность. Сообща с несколькими настоящими патриотами я поставлял нашей доблестной кавалерии овес и прочий фураж, снабжал обувью наших солдат. Только сегодня я отправил из Вернона в Южную армию шестьдесят голов рогатого скота, а ведь их придется гнать через местность, наводненную разбойниками, кишущую эмиссарами Питта и Конде. Я не разговариваю — я действую.

Гамлен спокойно сложил акварели в папку, завязал тесемки и взял ее подмышку.

— Странное противоречие,—процедил он сквозь зубы.—С одной стороны, помогать нашим солдатам водружать во всем мире знамя Свободы, а с другой — у себя дома предавать эту же Свободу, сея смутнение и тревогу в сердцах ее защитников... Прощайте, гражданин Блез!

Прежде чем направиться в переулок, идущий вдоль Оратории,

Гамлен, с сердцем, исполненным любви и гнева, обернулся, чтобы взглянуть на красные гвоздики в окне второго этажа.

Он несколько не отчаивался в спасении родины. Непатриотическим речам Жана Блеза он противопоставлял свою веру в революцию. Все-таки он вынужден был признать, что в словах продавца эстампов заключалась, повидимому, известная доля правды: население Парижа уже не проявляло прежнего интереса к событиям. К сожалению, было слишком несомненно, что на смену одушевлению первых дней пришло всеобщее равнодушие, что в прошлое канули охваченные общим порывом огромные толпы восьмьдесят девятого года, что в прошлое канули миллионы людей-единомышленников, сплотившихся в девяностом году вокруг алтаря федералистов. Ну что ж! Доблестные граждане удвоят рвение и смелость, заставят очнуться уснувший народ, предложив ему выбор между свободой и смертью.

Так думал Гамлен, и мысль об Элоди придавала ему мужества.

Очутившись на набережной, он увидел, что солнце садится за тяжелые тучи, похожие на горы добела раскаленной лавы; городские крыши купались в золотом свете; оконные стекла ослепительно сверкали. И Гамлен представил себе, что это титаны сооружают из пылающих обломков старых миров медные твердыни Дикей.

Не зная, где достать хлеба для себя с матерью, Гамлен мечтал о бесконечных столах и всемирной трапезе, в которой он примет участие вместе со всем возрожденным человечеством. А пока он убеждал себя, что родина, как добрая мать, накормит своего верного сына. Возмущенный пренебрежением, с которым торговец эстампами отнесся к его предложению, он старался уверить себя, что идея революционной колоды—идея новая и плодотворная и что у него подмышкой, в папке с прекрасно выполненными акварельными рисунками, заключено целое богатство. „Демай выгравировет их,—думал он.—Мы сами выпустим в свет патриотические карты и в какой-нибудь месяц наверняка распродадим десять тысяч колод по двадцать су каждая“.

Сгорая от нетерпения поскорее привести в исполнение свой замысел, он крупными шагами направился на Скобяную набережную, где над лавкой стекольщика жил Демай.

Вход был через лавку. Жена стекольщика предупредила Гамлена, что гражданина Демай нет дома, чем не очень удивила художника, так как он знал своего приятеля за человека непоседливого и легкомысленного и поражался, как это, работая лишь урывками, Демай гравировал так много и так искусно. Гамлен решил подождать его минутку. Жена стекольщика предложила ему стул. Она была мрачно настроена и стала жаловаться на дела, которые шли из рук вон плохо, хотя можно было предполагать, что революция, разбивая столько оконных стекол, обогатит стекольщиков.

Смеркалось. Отказавшись от мысли дожидаться товарища, Гамлен простился с женой стекольщика. Проходя по Новому мосту, он увидел на набережной Морфондю конный отряд национальных гвардейцев, которые, бряцая оружием, расталкивая толпу, с факелами в руках конвоировали телегу, медленно влекшую на гильотину человека, имени которого никто не знал — бывшего дворянина, первого, осужденного новым Революционным трибуналом. Между треуголками гвардейцев смутно виднелась его фигура: он сидел лицом к задку телеги, руки были связаны за спиной, обнаженная голова беспомощно болталась. Рядом с ним стоял палач, опершись рукой о боковую стенку повозки.

Прохожие, остановившись, высказывали предположение, что это, вероятно, какой-нибудь спекулянт, моривший голодом народ, и смотрели равнодушно на осужденного. Гамлен, подойдя поближе, увидел среди зевак Демай: он старался выбраться из толпы и перебежать дорогу. Эварист окликнул его и дотронулся рукой до его плеча. Демай обернулся. Это был молодой человек, красивый и сильный. В свое время про него говорили в Академии, что у него голова Вакха на торсе Геракла. Приятели звали его „Барбару“ — за сходство с этим народным представителем.

— Пойдем, — обратился к нему Гамлен, — мне надо поговорить с тобой о важном деле.

— Оставь меня в покое! — раздраженно ответил Демай.

Выжидая удобный момент, чтобы протиснуться сквозь толпу, он обронил несколько невнятных слов:

— Я шел следом за божественной женщиной... Соломённая шляпка... золотистые волосы, распущенные вдоль плеч... Вероятно, какая-нибудь модистка... Проклятая телега разъединила нас... Она успела пройти вперед... Она уже в конце моста!

Гамлен попытался удержать его за кафтан, клянясь, что дело очень важное.

Но Демай уже пробирался между лошадьми, гвардейцами, саблями и факелами, стремясь нагнать свою модистку.

IV.

Было десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозой воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название „Лилльская Красавица“, Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня, как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в „Амуре-Художнике“. Целую неделю гордый стоицизм и все возрастающая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки, и, повидимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.

Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, каким способом вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвильскую площадь. Но, зная, что он отличается грустным нравом и, судя по письму, сильно раздражен, и опасаясь, как бы он не перенес на нее злобы, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романтическое свидание, от которого он никак не мог уклониться и которое даст возможность переубедить его и понравиться ему, ибо уединение поможет ей очаровать и покорить его.

В эту эпоху во всех английских парках, во всех модных ме-

этах гуляний, по чертежам ученых архитекторов, были сооружены хижины, удовлетворявшие склонности горожан к сельской жизни. Хижина „Лилльская Красавица“, арендованная продавцом лимонада, упиралась одной из своих якобы ветхих стен в искусственные развалины старинной башни, соединяя таким образом прелесть сельского ландшафта с меланхолией руин. Очевидно, считая, что для чувствительных сердец еще недостаточно хижины и разрушенной башни, продавец лимонада соорудил под ивой могильный холм и водрузил на нем колонну с погребальной урной, украшенную надписью: „Клеониса своему верному Азору“. Хижины, развалины, гробницы! Накануне своей гибели аристократия воздвигала в наследственных парках эти символы нищеты, уничтожения и смерти. А теперь горожане-патриоты с удовольствием пили, плясали, предавались любви в искусственных хижинах, в тени искусственных развалин искусственных монастырей, среди искусственных гробниц, ибо и те и другие были поклонниками природы, учениками Жан-Жака, и те и другие одинаково обладали чувствительными, расположенными к мечтательности сердцами.

Явившись на свидание ранее назначенного часа, Эварист стал ожидать, измеряя время, как маятником, биением собственного сердца. Прошел патруль, ведя куда-то арестованных. Спустя десять минут женщина, вся в розовом, с букетом в руке, как этого требовала мода, проскользнула в хижину в сопровождении кавалера в треуголке, красном фраке, полосатом жилете и полосатых панталонах; оба до того были похожи на прежних щеголей, что поневоле приходилось согласиться с гражданином Блезом, утверждавшим, будто у людей есть такие свойства, которых не в состоянии изменить никакая революция.

Спустя еще несколько минут старуха, пришедшая из Рюэйля или Сен-Клу, держа в руках цилиндрическую ярко размазанную коробку, уселась на скамью, на которой ожидал Гамлен. Коробку, крышка которой была снабжена ружейкой со стрелой для гадания, женщина поставила перед собой. Она предлагала ребятам, игравшим в саду, попытать счастья. Торговала она печеньем, называвшимся прежде „облатками“, а теперь переименованным в „утехи“; потому ли, что традиционный термин „облатка“ наводил на докучливую мысль об евхаристии и христианском долге, потому ли, что всем надоело старое название, но „облатки“ назывались тогда „утехами“.

Старуха отерла концом передника пот со лба и разразилась жалобами, обращаясь к небу и обвиняя бога в несправедливости за то, что его созданиям приходится так тяжело. Ее муж держал кабачок в Сен-Клу, на берегу реки, а она ежедневно ходила по Елисейским полям со своей трещоткой, выкликая: „Утех, кому утех, сударыни!“ И все-таки они не могли прокормить себя на старости лет своими трудами.

Видя, что сосед по скамейке готов пожалеть ее, она принялась обстоятельно излагать причину своих несчастий. Виной всему была республика, которая, разорив богачей, вырвала у бедняков последний кусок хлеба изо рта. Нечего и надеяться на лучшее. Напротив, судя по многим признакам, дела пойдут все хуже и хуже. В Нантере женщина родила ребенка с головой гадюки; в Рюэйле молния ударила в церковь и расплавил крест на колокольне; в Шовильском лесу видели оборотня. Люди в масках отравляли источники и разбрасывали порошки, распространявшие заразу...

Эварист увидел Элоди, выходящую из коляски. Он кинулся ей навстречу. Глаза молодой женщины блестели в прозрачной тени соломенной шляпы; на губах, пунцовых, как гвоздики, которые она держала в руке, играла улыбка. Черный шелковый шарф, перекрещивавшийся на груди, сзади был завязан бантом. Желтое платье подчеркивало быстрые движения колен и открывало ноги в туфельках без каблуков. Бедрa не были стянуты, так как революция освободила стан гражданок от корсета; однако юбка, вздувавшаяся еще на боках, скрадывала формы, преувеличивая их и скрывая под своею пышностью подлинные очертания фигуры.

Он хотел заговорить, но не находил слов и упрекал себя за смущение, не зная, что Элоди оно было приятнее самых любезных речей. От ее внимания также не ускользнуло,—и она сочла это хорошим признаком,—что галстук у него был повязан тщательнее обыкновенного. Она протянула Эваристу руку.

— Я хотела повидать вас,— сказала она,— побеседовать с вами. На ваше письмо я не ответила: оно мне не понравилось; я не узнала в нем вас. Будь оно естественнее, оно было бы любезнее. Я умалила бы достоинства вашего характера и вашего ума, если бы в самом деле поверила, что вы не желаете больше приходить на улицу Оноре только потому, что слегка повздорили о политике с человеком, гораздо старше вас. Будьте покойны, вам нечего опасаться

дурного приема со стороны отца, когда вы снова явитесь к нам. Вы не знаете его: он не помнит ни того, что сам сказал, ни того, что вы ответили. Я вовсе не утверждаю, что между вами обоими существует большая симпатия, но он не злопамятен. Говорю вам откровенно: он не слишком интересуется ни вами... ни мной... Он поглощен своими делами и развлечениями.

Она направилась к деревьям, окружавшим хижину, куда он последовал за нею не без некоторого отвращения, так как знал, что это — место свиданий с продажными женщинами и приют мимолетной любви. Она выбрала столик в самом укромном уголке.

— Как много должна я вам сказать, Эварист! Дружба имеет свои права: вы разрешите мне воспользоваться ими? Я хочу поговорить с вами — главным образом о вас... и немножко о себе, если вы ничего не имеете против.

Продавец лимонада принес графин и стаканы, и Элоди сама, как хорошая хозяйка, наполнила стаканы; затем она рассказала Эваристу про свое детство, про мать, красоту которой она охотно превозносила и как любящая дочь и потому, что считала ее источником собственной красоты. Она с уважением говорила о том, какие крепкие люди были ее предки: ибо она гордилась своей буржуазной кровью! Она рассказала также, как, потеряв в шестнадцатилетнем возрасте обожаемую мать, она с тех пор жила без ласки, без поддержки. Обрисовала себя, какой была и в самом деле: живой, чувствительной, смелой женщиной, и прибавила:

— Эварист, я провела слишком печальную и одинокую юность, чтобы не оценить такого сердца, как ваше, и не откажусь по собственной воле и без борьбы, предупреждаю вас, от чувства симпатии, на которое, мне казалось, я могу рассчитывать и которое мне дорого.

Эварист с нежностью посмотрел на нее:

— Неужели, Элоди, я вам не безразличен? Смею ли я этому верить?..

Он замолчал из боязни сказать лишнее и злоупотребить столь доверчиво предложенной дружбой.

Она с открытым видом протянула ему маленькую руку, выглядывавшую наполовину из длинного, узкого, отделанного кружевом рукава. Грудь ее вздымалась от глубоких вздохов.

— Припишите мне, Эварист, все чувства, которые вы хотели

бы, чтобы я к вам питала, и вы не ошибетесь в моем сердечном расположении.

— Элоди, Элоди, повторите ли вы это, когда узнаете...

Он зашнулся.

Она опустила глаза.

Он шепотом закончил:

— ...что я люблю вас?

При последних словах она покраснела — от удовольствия. В ее глазах он мог бы прочесть нежную страсть, но в то же время, против воли, насмешливая улыбка приподымала уголки ее рта. Она думала:

„И ему кажется, что он объяснился первым!.. А может быть, он даже боится, что рассердил меня!..“

Она ласково сказала ему:

— Вы, значит, не заметили, друг мой, что я вас люблю?

Им казалось, что они одни во всем мире. В порыве восторга Эварист устремил взор к залитому солнцем лазурному небосводу:

— Глядите: небо смотрит на нас! Оно так же восхитительно, так же благосклонно, как и вы, моя возлюбленная; оно, подобно вам, ослепляет своим блеском, подобно вам, улыбается кротко...

Он чувствовал себя слившимся со всей природой, он делал ее участницей своей радости, своего торжества. Ему представлялось, что, празднуя его обручение, канделябрами загорались цветы каштанов и вспыхивали исполинские факелы тополей.

Он наслаждался своей силой и величием. Она, более нежная и тонкая, более гибкая и податливая, уже считала себя вправе воспользоваться преимуществами слабого пола и, покорив Эвариста, подчинялась его воле; завладев им, она теперь видела в его лице господина, героя, бога, сгорала от желания восхищаться им, повиноваться, отдаться ему. В тени деревьев он запечатлел на ее устах долгий пламенный поцелуй; она запрокинула голову и в объятиях Эвариста почувствовала, что тело ее становится мягким, как воск.

Они еще долго разговаривали о самих себе, позабыв обо всем на свете. Эварист высказывал, главным образом, неопределенные и возвышенные мысли, от которых молодая женщина приходила в восторг. Элоди вела речь о вещах приятных, практических и касавшихся только их. Потом, когда она сочла, что дольше оставаться нельзя, она поднялась с решительным видом, дала своему возлю-

бленному три пундовых гвоздики, возвращенные ею на окне, и вспорхнула в кабриолет, в котором приехала. Это была наемная коляска на очень высоких колесах, выкрашенная в желтый цвет; ни в ней, ни в кучере не было решительно ничего примечательного, но Гамлен никогда не пользовался наемными колясками и все окружавшие его тоже. Когда он увидел Элоди в кабриолете на огромных, быстро катящихся колесах, у него сжалось сердце от печального предчувствия: он мучительно ясно, как это бывает только при галлюцинации, представил себе, что лошадь увозит Элоди прочь от действительности, за пределы настоящего, в какой-то роскошный и веселый город, к пышным чертогам, на лоно наслаждений, куда он не вступит никогда.

Кабриолет скрылся из виду. Смятение Эвариста рассеялось, но осталась глухая тоска: он чувствовал, что пережитых здесь часов нежности и забвения ему не испытать больше никогда.

Он направился домой Елисейскими полями, где женщины в светлых платьях шили или вышивали, сидя на деревянных стульях, между тем как дети их играли под деревьями. Увидав торговку „утехами“ с коробкой в форме барабана, он вспомнил торговку „утехами“ во Вдовьей аллее, и ему показалось, будто между этими двумя встречами прошла целая полоса его жизни. Он пересек площадь Революции. В Тюильрийском саду он издали услышал мощный гул великих дней революции, единодушный голос людских толп, который, по мнению врагов республики, умолк навсегда. Ускорив шаги навстречу все возраставшему шуму, он очутился на улице Оноре, сплошь усеянной мужчинами и женщинами, кричавшими: „Да здравствует Республика! Да здравствует Свобода!“ Стены садов, окна, балконы, крыши были унижены зрителями, махавшими шляпами и носовыми платками. Предшествуемый сапером, который расчищал дорогу шествию, окруженный муниципальными властями, национальными гвардейцами, артиллеристами, жандармами, гусарами, медленно плыл над головами граждан человек с желчным цветом лица; на лбу у него красовался венок из дубовых листьев, на плечи был накинута ветхий зеленый плащ с горностаевым воротником. Женщины осыпали его цветами. Он смотрел вокруг желтыми пронизывающими насквозь глазами, как будто выискивал в этой охваченной энтузиазмом толпе врагов народа, которых надлежало разоблачить, изменни-

ков, которых надлежало покарать. Поравнявшись с ним, Гамлен обнажил голову и, присоединяя свой голос к сотням тысяч других голосов, крикнул:

— Да здравствует Марат!

Триумфатор вступил, как Рок, в залу Конвента. Между тем как толпа медленно расходилась, Гамлен, сидя на тумбе, сдерживал рукою биение сердца. Зрелище, очевидцем которого он только что был, наполнило все его существо возвышенным волнением и пламенным восторгом.

Он чтит и любил Марата, который, страдая воспалением вен, больной, мучимый язвами, отдавал остаток своих сил на служение республике и в своем бедном, для всех открытом доме принимал его с распростертыми объятиями, говорил ему с увлечением об общем благе, порою расспрашивал о происках злодеев. Теперь Эварист был в восхищении, увидав, что враги Марата, замышлявшие его гибель, уготовили ему триумф; он благословлял Революционный трибунал, который, оправдав Друга Народа, вернул Конвенту самого ревностного и самого безупречного из законодателей. Он еще видел перед собою лихорадочный взор, чело, увенчанное символом гражданской доблести, лицо, выражавшее благородную гордость и безжалостную любовь, изнуренное недугом, высохшее, неотразимое, перекошенный рот, широкую грудь, всю фигуру умирающего исполина, который с высоты людской победной колесницы, казалось, обращался к согражданам: „Будьте, подобно мне, патриотами до гробовой доски!“

Улица уже опустела, ночь покрыла ее мраком; с фонарем в руке прошел мимо ламповщик, а Гамлен все еще повторял про себя:

— До гробовой доски!..

V

В девять часов утра Эварист уже застал в Люксембургском саду Элоди, ожидавшую его на скамье.

Прошел месяц с тех пор, как они объяснились в любви, и теперь они ежедневно встречались то в „Амуре-Художнике“, то в мастерской на Тионвильской площади. Свидания эти были очень нежны, но все же носили на себе печать известной сдержан-

ности, которую налагал на них добродетельный и степенный характер Гамлена: деист и безупречный гражданин, он готов был соединить свою судьбу с судьбою любимой женщины, смотря по обстоятельствам — перед лицом закона или перед лицом одного лишь господ, но соглашался сделать это лишь открыто, не таясь от людей. Элоди отдавала должное столь благородному решению, но, отчаявшись вступить в брак, невозможный по многим причинам, и отказываясь вместе с тем кинуть вызов общественным приличиям, она в глубине души лелеяла мысль о тайной связи, которая, не бросаясь в глаза, с течением времени приобрела бы уважение окружающих. Она надеялась, что в один прекрасный день ей удастся преодолеть щепетильность своего слишком почтительного возлюбленного, и, не желая дольше откладывать необходимых признаний, она назначила ему свидание в безлюдном саду, близ монастыря картезианцев.

Взглянув на Эвариста с неподдельной нежностью, она взяла его за руку, усадила рядом с собой и заговорила, тщательно выбирая каждое слово:

— Я слишком уважаю вас, Эварист, чтобы таяться от вас. Я считаю себя достойной вас: я не была бы такой, если бы не сказала вам всего. Выслушайте меня и будьте моим судьей. Я не могу упрекнуть себя в некрасивом, низком или корыстном поступке. Я была лишь слишком слаба и легковерна... Не упускайте из виду, мой друг, тяжелых обстоятельств, в которых я находилась. Вы знаете, я рано потеряла мать; отец, еще молодой человек, думал только о развлечениях и обращал на меня мало внимания. Я выросла чувствительной девушкой: природа наделила меня нежным, любвеобильным сердцем, и, хотя она не отказала мне в здравом смысле, в ту пору чувство брало во мне верх над рассудком. Увы, оно и сейчас оказалось бы сильнее всего, если бы они оба — чувство и рассудок — не советовали мне, Эварист, отдаться вам безраздельно и навсегда!

Она выражалась сдержанно и, вместе с тем, энергично; каждое слово ее было обдуманно заранее. Она уже давно решила на эту исповедь: во-первых, потому, что обладала открытым характером, во-вторых, потому, что ей нравилось подражать Жан-Жаку, и, наконец, потому, что она благоразумно убеждала самое себя: „Рано или поздно Эваристу откроется тайна, которая принадлежит не мне одной; добровольное признание возвысит меня в его глазах и избавит от позора разоблачений со стороны“. Влюбчивая, покорная го-

досу природы, она считала себя не очень виновной, и потому эта исповедь не слишком тяготила ее; кроме того, она собиралась рассказать Эваристу лишь самое необходимое.

— Ах,— вздохнула она,— почему, дорогой Эварист, мы с вами не встретились в то время, когда я была одна, покинутая?

Гамлен понял буквально просьбу Элоди быть ей судьей. Предрасположенный от природы и подготовленный литературным воспитанием к роли доморощенного блюстителя справедливости, он собирался выслушать признание Элоди.

Видя, что она колеблется, он знаком предложил ей говорить.

И она сказала совсем просто:

— Один молодой человек, обладавший не только дурными качествами, но и хорошими, и выставлявший напоказ только хорошие, нашел меня довольно привлекательной и стал ухаживать за мной с настойчивостью, которая в нем могла показаться даже странной: он был во цвете лет, изящен и имел несколько любовниц, прелестных женщин, откровенно обожавших его. Не красотой и даже не умом пленил он меня... Ему удалось тронуть меня своей любовью, и я думаю, что он действительно меня любил. Он был нежен, предупредителен. Я не требовала от него ничего, кроме сердца, а сердце его было непостоянно... Я обвиняю только себя: это — моя исповедь, а не его. Я не жалею о нем: ведь он стал мне чужим. О, клянись вам, Эварист, его как будто и не существовало!

Она умолкла. Гамлен ничего не ответил; он скрестил руки на груди; мрачным взором он уставился на Элоди. Он думал о ней и о своей сестре Жюли. Жюли тоже вняла уговорам любовника. Но, в отличие от несчастной Элоди, она дала себя увести не потому, что по неопытности послушалась голоса сердца, а потому, что хотела найти, вдали от своих, роскошь и наслаждения. Со свойственной ему суровостью, Гамлен осудил сестру и склонен был осудить свою возлюбленную.

Элоди кротким голосом продолжала:

— Начитавшись философских книг, я верила, что все люди по самой своей природе честны. К несчастью, судьба толкнула меня в объятия человека, который не был воспитан в школе природы и нравственности и которого общественные предрассудки, тщеславие, самолюбие и ложное понятие о чести сделали вероломным эгоистом.

Эти заранее рассчитанные слова произвели желаемое впечатление. Взор Гамлена смягчился.

— Кто ваш соблазнитель?— спросил он.— Знаю ли я его?

— Вы не знаете его.

— Назовите его имя.

Она предвидела этот вопрос и твердо решила не отвечать на него.

— Избавьте меня от этого, прошу вас,— убеждала она его.— И без того я слишком много сказала вам, слишком много — и для себя и для вас.

Так как он продолжал настаивать, она прибавила:

— В интересах священной для нас любви я не скажу ничего, что позволило бы вам представить себе облик этого... чужого мне человека. Я не хочу давать пищу вашей ревности, не хочу ставить между вами и мной назойливый призрак. К чему теперь, когда я позабыла об этом человеке, вам о нем знать?

Гамлен все-таки добивался, чтобы она назвала имя соблазнителя: он упорно употреблял это слово, так как не сомневался, что Элоди была соблазнена, обманута, пала жертвой своей доверчивости. Он даже не допускал мысли, что дело могло обстоять иначе, что Элоди уступила своему влечению, влечению непреодолимому, вняла тайному голосу плоти и крови; он не допускал мысли, что это сладострастное и нежное создание, эта очаровательная жертва любви отдалась добровольно; ему, в соответствии с его взглядами, надо было верить, что ею овладели силой или хитростью, что ее принудили к этому, что она попала в одну из ловушек, расставленных на каждом шагу. Он задавал ей вопросы, внешне сдержанные, но точные, сжатые и смущавшие ее. Он допытывался, как возникла эта связь, сколько она продолжалась, была ли она спокойной или бурной и как прекратилась. Без конца он осведомлялся, к каким средствам обольщения прибег этот человек, как будто это должны были быть какие-то необыкновенные, неслыханные приемы. Все эти вопросы он задавал напрасно. Молча зывая о пощаде, она смотрела на него кроткими, полными слез глазами и не проронила ни звука.

Но когда он пожелал узнать, где в настоящее время находится этот человек, она ответила:

— Он покинул королевство...

И сразу поправилась:

— ... Францию.

— Эмигрант! — вырвалось у Гамлена.

Она безмолвно взглянула на него, успокоенная и в то же время опечаленная тем, что он создал себе домысел, соответствовавший его политическим убеждениям и, не имея на то никаких оснований, сообщил своей ревности якобинскую окраску.

В действительности же любовник Элоди был писец прокурора, очень красивый юноша, мелкий клерк с головой херувима, в которого она без памяти была влюблена, так что даже теперь, по прошествии трех лет, мысль о нем вызвала жар у нее в груди. Он искал близости с женщинами немолодыми, но богатыми, и оставил Элоди ради дамы, искушенной в науке страсти и щедро вознаграждавшей его по заслугам. После упразднения старых должностей, поступив на службу в парижскую мерию, он в настоящее время был драгуном-санкюлотом и находился на содержании у бывшей дворянки.

— Аристократ! Эмигрант! — повторял Гамлен, а она не решалась разуверить его, так как совсем не хотела, чтобы он знал всю правду.

— И он подло бросил тебя?

Она наклонила голову.

Он прижал ее к сердцу.

— Дорогая жертва безнравственного самовластья! Я отомщу этому гнусному развратнику! Только бы небо помогло мне встретить его! Я узнаю его!

Она отвернулась, улыбаясь, но в то же время огорченная и разочарованная. Ей хотелось, чтобы он был умнее в делах любви, проще и грубее. Она сознавала, что он простил ее так скоро только потому, что обладал недостаточно пылким воображением, что ее исповедь не пробудила в нем ни одной из тех картин, которые заставляют дерзаться людей чувственных, и, наконец, потому, что он увидел в ее обольщении лишь факт морального и социального значения.

Они поднялись и пошли по зеленым аллеям сада. Он говорил ей, что еще больше уважает ее за пережитые страдания. Элоди этого и не требовала. Она любила его, каков он есть, и восхищалась его талантливостью, которую считала бесспорной.

По выходе из Люксембургского сада они увидели на улице Равенства и вокруг Национального театра большое скопление народа, что не было для них неожиданностью: уже несколько дней в наиболее патриотически настроенных секциях царило сильное возбуждение: там раскрыли заговор орлеанистов и сообщников Бриссо, которые, по слухам, поставили себе целью погубить Париж и перебить всех республиканцев. Гамлен сам еще недавно подписал петицию Коммуны, требовавшую исключения из Конвента двадцати одного члена.

Прежде чем пройти под аркой, соединявшей театр с соседним домом, им пришлось пробраться сквозь толпу граждан в карманьолах, к которым, стоя на галерее, обращался с речью молодой военный в шлеме, обтянутом шкурой пантеры. Этот красавец, который мог бы поспорить наружностью с „Амуром“ Праксителя, обвинял Друга Народа в беспечности.

— Ты спишь, Марат,— восклицал он,— а федералисты меж тем куют для нас оковы!

Как только Элоди заметила его, она взволнованно обратилась к Гамлену:

— Уйдем отсюда, Эварист!

Толпа, говорила она, пугает ее: она боится упасть в обморок в этой давке.

Они расстались на Национальной площади, обменявшись клятвами в вечной любви.

В тот же день, рано утром, гражданин Бротто принес в подарок гражданке Гамлен великолепного каплуна. С его стороны было бы крайней неосторожностью рассказать, каким образом он раздобыл его, ибо он получил его от рыночной торговки, которой иногда писал письма, примостившись у одного из выступов церкви святого Евстафия, а ни для кого не было тайной, что рыночные торговки питали роялистские чувства и поддерживали сношения с эмигрантами. Гражданка Гамлен с признательностью приняла каплуна. Такой птицы давно уже никто не видывал: съестные припасы дорожали с каждым днем. Народ опасался голода; аристократы, по слухам, желали, а спекулянты всеми способами готовили его.

Гражданин Бротто, которого пригласили полакомиться каплуном, явившись в полдень, пришел в восхищение от приятного запаха

стрижни и высказал это хозяйке. В самом деле, мастерская художника была полна благоуханием жирного бульона.

— Вы очень любезны, сударь,— ответила старушка.— Чтобы приготовить желудки к восприятию вашего кашлуна, я сварила суп из зелени, положив туда корочку свиного сала и толстую бычью кость. Ничто не придает такого аромата супу, как мозговая кость.

— Весьма похвальное суждение, гражданка,— заметил старик Бротто.— Вы поступите вполне благоразумно, если завтра, послезавтра и до конца недели будете класть драгоценную кость в кастрюлю,— она придаст супу аромат. Сивилла из Панзуста поступала именно таким образом: она варила похлебку из свежей капусты с корочкой пожелтевшего свиного сала и с уже бывшим в употреблении саворадо. Саворадо у нее на родине — кстати сказать, это и моя родина — называют мозговую кость, которая так вкусна и питательна.

— Не находите ли вы, сударь,— спросила гражданка Гамлен,— что дама, о которой вы говорите, была слишком уж расчетлива, варя так долго одну и ту же кость?

— Она жила очень скромно,— ответил Бротто.— Она очень нуждалась, хотя и была прорицательницей.


В эту минуту вошел Эварист Гамлен. Глубоко взволнованный только что сделанными ему признаниями, он дал себе слово выяснить, кто соблазнитель Элоди, чтобы отомстить одновременно и за республику и за любимую женщину.

Обменявшись с Эваристом обычными приветствиями, гражданин Бротто продолжал:

— Лишь в самых редких случаях люди, занимающиеся предсказанием судьбы, наживают себе состояние. Их проделки очень скоро всплывают наружу. Их начинают ненавидеть за обман. Но их следовало бы ненавидеть еще больше, если бы они действительно предрекали будущее. Ведь жизнь человека стала бы невыносима, если бы он знал, что с ним должно приключиться. Его взору предстали бы все грядущие несчастья, и он страдал бы от этого заранее и уже не мог бы наслаждаться благами, отпущенными ему судьбой, так как предвидел бы их конец. Неведение — условие, необходимое для человеческого счастья, и надо признать, что чаще всего люди удовлетворяют этому требованию. О самих себе мы не знаем почти ничего, о наших ближних — ничего. Неведение обеспечивает нам спокойствие, а ложь — счастье.

Гражданка Гамден поставила миску с супом на стол, прочла Benedicite, усадила сына и гостя, а сама принялась есть стоя, отказавшись от предложения Бротто сесть рядом с ним, так как, объяснила она, ей известно, к чему ее обязывала учтивость.

VI

 есять часов утра. Ни ветерка. Такого жаркого июля еще не помнили. На узкой Иерусалимской улице около сотни граждан этой секции стояло в „хвосте“ перед дверьми булочной; четыре национальных гвардейца, опустив ружья и покуривая трубки, наблюдали за порядком.

Конвент установил твердые цены: сейчас же исчезли зерно и мука. Подобно израильтянам в пустыне, парижане, не желавшие голодать, подымались до света. Все эти люди — мужчины, женщины, дети — напирали на соседей, толкались, перекликались, смотрели друг на друга со всеми чувствами, какие только может испытывать человек к своему ближнему: с ненавистью, отвращением, любопытством, вожделением, равнодушием, а раскаленное небо нагревало гниющие отбросы в канавах и обостряло запах пота и грязи. На основании горького опыта было известно, что хлеба на всех не хватит: поэтому опоздавшие старались протолкаться вперед; те, кого оттесняли, раздражались жалобами, возмущались, тщетно ссылались на свое попранное право. Женщины с ожесточением работали локтями и бедрами, чтобы сохранить за собой место или пробраться ближе. Когда давка увеличивалась, подымались крики: „Не толкайтесь!“ И каждый протестовал, утверждая, что его толкают.

Дабы избежать этих ежедневных беспорядков, комиссары, уполномоченные секцией, распорядились протянуть от дверей булочной до конца очереди веревку, за которую все должны были держаться. Однако руки стоявших рядом то и дело сталкивались и вступали в борьбу. Выпустивший веревку уже не имел возможности снова ухватиться за нее. Недовольные или просто озорники перерезали веревку, и от этой меры пришлось отказаться.

В очереди задыхались, теряли сознание, обменивались остротами,

непристойными замечаниями, ругали аристократов и федералистов, виновников всех бед. Когда мимо пробегала собака, шутники называли ее Питтом. Порой раздавалась звонкая пощечина, отпущенная какому-нибудь нахалу одной из оскорбленных им гражданок, между тем как молоденькая служанка, прижатая соседом, томно вздыхала, потупив взор, полураскрыв рот. На каждое слово, на каждый жест, на каждое положение, способные привести веселых французов в игривое настроение, кучка юных озорников затягивала „Са ига!“, не обращая внимания на протесты старого якобинца, возмущенного тем, что онопляют грязными намеками припев, выразивший республиканскую веру в грядущую справедливость и всеобщее счастье.

С лестницей подмышкой, подошел расклейщик афиш и налепил на стене против булочной объявление Коммуны о введении мясного пайка. Прохожие останавливались и читали еще не успевшую просохнуть бумагу. Торговка капустой, с плетенкой за плечами, заорчала сильным, надтреснутым голосом:

— Ну, теперь поминай как звали наших бычков! Вот оно, когда ветер задувает у нас в кишках!

Вдруг из сточной канавы потянуло такой чудовищной вонью, что многих стошнило; одной женщине стало дурно, и ее без чувств сдали на руки двум национальным гвардейцам, которые оттащили ее в сторонку под крап. Люди затыкали себе нос; поднялся ропот; обменивались отрывистыми замечаниями, в которых сквозило беспокойство и страх. Допытывались, не закопано ли здесь дохлятины, не положили ли сюда злоумышленники отраву или — это казалось правдоподобнее всего — не разлагается ли забытое поблизости в одном из погребов тело какого-нибудь дворянина или священника, убитого в Сентябрьские дни.

— Разве их сваливали здесь?

— Их сваливали повсюду!

— Это, должно быть, один из тех, с которыми расправились в Шатле. Второго числа я видел триста трупов, сваленных в кучу на мосту Мениял.

Парижане боялись мести аристократов, которые и после смерти отравляли их.

Эварист Гамлен стал в очередь: он решил избавить старуху-мать от утомительного стояния в „хвосте“. Вместе с ним пошел его

сосед, гражданин Бротто, спокойный, улыбающийся, с Лукрецием в оттопыренном кармане коричневого сюртука.

Славный старик восхищался этой сценой: она представлялась ему сюжетом из простонародной жизни, достойным кисти современного Тенирса.

— Эти грузчики и кумушки,— сказал он,— занимательнее греков и римлян, так полюбившихся в настоящее время нашим художникам. Что касается меня, я всегда питал пристрастие к фламандскому жанру.

Из благоразумия и из чувства такта он не упомянул о том, что в свое время у него была целая галерея голландских картин, с которой по числу и подбору полотен могло сравниться только собрание господина де-Шуазеля.

— Прекрасна только древность,— возразил художник,— и то, что ею вдохновлено; тем не менее готов согласиться, что простонародные сюжеты Тенирса, Стена, Остаде гораздо выше ничего не стоящей мазни Ватто, Буше или Ван-Лоо: людские существа у них изображены уродливыми, но не опошлены, как у какого-нибудь Бодуэна или Фрагонара.

Мимо прошел продавец газет, выкликая:

— Бюлетень Революционного трибунала! Список осужденных!

— Мало одного Революционного трибунала,— заметил Гамлен.— Надо бы учредить трибунал в каждом городе... Что я говорю! В каждой коммуне, в каждом кантоне. Необходимо, чтобы все отцы семейств, все граждане сделались судьями. Когда нации угрожают пушки неприятеля и кинжалы изменников, милосердие — тягчайшее преступление. Как! Лион, Марсель, Бордо восстали, Корсика охвачена возмущением, Вандея в огне, Майнц и Валансьен во власти коалиции, измена — всюду: в городах, в деревнях, в лагерях; измена заседает на скамьях Национального конвента, измена, с картою в руке, принимает участие в военных советах наших полководцев!.. Пусть гильотина спасет отечество!

— У меня нет существенных возражений против гильотины,— ответил старик Бротто.— Природа, моя единственная наставница и учительница, в самом деле не дает мне никаких указаний на то, что жизнь человеческая имеет какую-либо цену; напротив, она всячески учит, что человеческая жизнь ничего не стоит. Повидимому, единственное назначение всякого живого существа — стать пищей

другого существа, предназначенного в свою очередь для той же цели. Убийство не противоречит естественному праву: следовательно, смертная казнь вполне законна, если только к ней прибегают не ради добродетели и справедливости, а из необходимости или ради выгоды. Должен, однако, признаться, что у меня, вероятно, извращенный инстинкт, так как я не выношу зрелища крови, и этой противоестественной черты не в состоянии побороть вся моя философия.

— Республиканцы,— снова заговорил Эварист,— люди гуманные и чувствительные. Одни только деспоты утверждают, будто смертная казнь — необходимый атрибут власти. Суверенный народ в свое время отменит ее. Робеспьер выступал против нее, и все патриоты были на его стороне; чем скорее будет издан декрет об отмене ее, тем лучше. Однако в действие его можно будет ввести не раньше, чем последний враг республики погибнет, сраженный мечом закона.

За Гамленом и Бротто уже стали в ряд запоздавшие, по преимуществу женщины из этой секции; среди них обращали на себя внимание рослая красивая вязальщица в косынке и деревянных башмаках, опоясанная саблей, хорошенькая блондинка, растрепанная, в измятом платке, и молодая мать, худая и бледная, кормившая грудью хилого ребенка.

Младенец, которому не хватало молока, кричал, но крик был слабый, и ребенок захлебывался от рыданий. Он был жалкий и маленький, с прозрачным сморщенным личиком, с воспаленными глазами; мать с нежностью и скорбью смотрела на него.

— Он еще совсем крохотный,— сказал Гамлен, обращившись к несчастному младенцу, прижатому к его спине напиравшей толпой и скулившему.

— Ему полгода, моему сокровищу!.. Отец в армии: он из тех, что отбросили австрийцев в Конде. Зовут его Дюмонтель (Мишель); по профессии он приказчик в суконной лавке. Записался он на подмостках, которые соорудили перед ратушей. Бедняжка, он хотел защищать родину, а заодно повидать свет... Он пишет мне, что надо запастись терпением. Но как же мне кормить Поля (моего сыночка зовут Полем)... когда мне самой нечего есть?

— Ах,— воскликнула хорошенькая блондинка,— да мы тут еще час стоим, а вечером предстоит та же церемония у дверей бакалейщика! Ради трех яиц и кусочка масла рискуешь жизнью.

— Масла! — вздохнула гражданка Дюмонтейль. — Вот уже три месяца как я его не видела!

И женщины хором стали жаловаться на недостаток и дороговизну продуктов, проклиная эмигрантов, возмущаться, что не отправляют на гильотину комиссаров секции, раздающих всяким потаскухам, в награду за их презренные ласки, четырехфунтовые хлебы и откормленных кур. Передавали тревожные слухи о быках, потопленных в Сене, о мешках муки, высыпанных в сточные канавы, о хлебе, брошенном в отхожие места... Все это дела роялистов, роландистов, бриссотинцев, поставивших себе целью уморить голодом население Парижа.

Вдруг хорошенькая блондинка в измятом платке подняла такие вопли, как будто на ней загорелась юбка; она трясла ее изо всех сил, выворачивала карманы, заявляя, что у нее вытащили кошелек.

При вести о краже эта толпа простонародья, промившая особняки Сен-Жерменского предместья и врывавшаяся в Тюильри, но не польстившаяся на чужое добро, загорелась негодованием; все эти ремесленники и хозяйки с легким сердцем сожгли бы Версальский дворец, но сочли бы для себя величайшим позором унести оттуда хотя бы булавку. Молодые озорники попробовали было отпустить несколько колких замечаний, издеваясь над потерпевшей красоткой, но общий ропот заставил их замолчать. Уже поговаривали о том, что надо вздернуть вора на фонарь. Шумно и пристрастно стали доискиваться виновника. Рослая вязальщица, указывая пальцем на старика, смахивающего на расстриженного монаха, клялась, что это дело рук „капуцина“. Толпа, без колебаний поверив ее словам, потребовала немедленной расправы.

Старик, на которого так неожиданно обрушилось обвинение, все время скромно стоял впереди празданина Бротто. Правду сказать, он сильно походил на бывшего монаха. Держался он с большим достоинством, хотя и был испуган неистовством толпы, пробудившим в нем еще свежее воспоминание о Сентябрьских днях. Страх, написанный у него на лице, подтверждал подозрения, ибо простой народ убежден, что только виновные боятся его суда, как будто поспешность, с которой он выносит свои необдуманные приговоры, не может напугать и ни в чем неповинного.

Бротто поставил себе правилом никогда не идти наперекор чувствам толпы, особенно когда они принимают нелепые и жестокие



формы, „потому что в этих случаях,—говаривал он,—глас народа—глас божий“. Но Бротто был непоследователен: он заявил, что этот человек, капуцин ли он или нет, не мог украсть кошелек у гражданки, так как он ни на одно мгновение не подходил к ней.

Толпа решила, что тот, кто защищает вора,—его сообщник, и теперь речь шла уже о расправе с двумя злоумышленниками; когда же Гамлен поручился за Бротто, то наиболее благоразумные стали поговаривать, что и его вместе с обоими надо бы отправить в секцию.

Вдруг хорошенькая блондинка радостно закричала, что нашла кошелек. Тотчас же на нее зауллюкали и даже пригрозили высечь ее на глазах у всех присутствующих, как пороли монахинь.

— Сударь,—обратился монах к Бротто,—позвольте поблагодарить вас за ваше заступничество. Мое имя ничего не скажет вам, но все же разрешите представиться: меня зовут Луи де-Лонгмар. Я, действительно, монах, но не капуцин, как утверждали эти женщины. Это глубоко неверно: я принадлежу к ордену варнавитов, которому церковь обязана столькими учеными и святыми. Те, которые ведут происхождение ордена от святого Карла Борромео, ошибаются: подлинным его учредителем следует считать святого апостола Павла; недаром же его инициалы орден имеет в своем гербе. Мне пришлось покинуть монастырь, когда в нем обосновалась секция Нового Моста, и надеть светское платье.

— Отец мой,—заметил Бротто, рассматривая долгополую хламиду Лонгмара,—ваша внешность в достаточной мере свидетельствует, что вы не отреклись от своего звания: глядя на вас, можно скорее подумать, что вы реформировали свой орден, а не вышли из него совсем. В этом строгом одеянии вы добровольно подвергаете себя поношениям нечестивой черни.

— Не могу же я,—возразил монах,—напялить на себя голубой фрак, словно какой-нибудь танцор!

— Отец мой, я позволил себе сделать замечание по поводу вашего платья только потому, что мне хотелось воздать должное вашему мужеству и обратить ваше внимание на опасности, которые вам угрожают.

— Было бы лучше, сударь, если бы вы, наоборот, поддержали во мне стремление исповедывать мою веру, ибо я слишком склонен бояться всяких опасностей. Я перестал носить рясу, а это уже не-

которое отступничество; я хотел, по крайней мере, не покидать крова, под которым, по милости божьей, прожил столько лет вдали от мирской суеты: я продолжал оставаться в своей келье, между тем как церковь и монастырь превратили в маленькую ратушу, которую они называют секцией. У меня на глазах, сударь, у меня на глазах, сбивали со стен эмблемы святой истины; у меня на глазах, на том самом месте, где красовалось имя апостола Петра, водрузили колпак каторжника. Иногда я даже присутствовал на совещаниях секции и слышал, как там высказывались глубоко ошибочные суждения. Я покинул, в конце концов, этот оскверненный кров и на пенсию в сто пистолей, которую мне ассигновало Учредительное собрание, поселился в конюшне, откуда всех лошадей забрали для нужд армии. Там я служу обедню для нескольких верующих, которые своим присутствием утверждают непреходимость церкви христовой.

— Меня, отец мой,— ответил его собеседник,— зовут, если вам угодно знать, Бротто, и в прежнее время я был мытарем.

— Сударь,— возразил отец Лонгмар,— пример святого Матфея показывает, что и от мытаря можно услышать слово истины.

— Отец мой, вы слишком любезны.

— Гражданин Бротто,— обратился к нему Гамлен,— неужели вас не приводит в восхищение этот народ, алчущий справедливости больше, чем хлеба? Ведь каждый здесь был готов потерять свое место, лишь бы наказать вора. Эти мужчины и женщины, бедняки, испытывающие нужду в самом необходимом, безукоризненно честны и не могут примириться с бессовестным поступком.

— Надо признаться,— ответил Бротто,— что, стремясь во что бы то ни стало повесить вора, эти люди могли оказать плохую услугу почтенному монаху, его защитнику и защитнику его защитника. В данном случае они руководились любостяжанием и эгоистической привязанностью к собственности: вор, обокрав одного из них, упрямился всем; наказывая его, они предохраняли себя.. Впрочем, вполне возможно, что большинство этих ремесленников и хозяек честны и относятся с уважением к чужому добру. Чувства эти с детства были внушены им отцами и матерями, которые не жалели розог, внедряя добродетель через то место, откуда растут ноги.

Гамлен не скрыл от старика Бротто, что подобная речь представляется ему недостойной философа.

— Добродетель,— сказал он,— свойственна человеку от рождения: семена ее заложены богом в сердце каждого смертного.

Старик Бротто был атеист, и атеизм являлся для него неисчерпаемым источником наслаждений.

— Я вижу, гражданин Гамлен, что вы революционер лишь поскольку речь идет о делах земных; что же касается дел небесных— вы консерватор и даже реакционер. Робеспьер и Марат такие же ретрограды, как вы. Мне кажется странным, что французы, уже не признающие над собою власти смертного самодержца, упорно цепляются за самодержца бессмертного, несравненно более деспотического и свирепого. Ибо что такое Бастилия и даже королевский суд с его приговорами к сожжению по сравнению с адом? Человечество создает себе богов по образу своих тиранов, а вы, отбрасывая оригинал, сохраняете копию!

— О! гражданин!— воскликнул Гамлен,— и вам не стыдно вести такие речи? Как можете вы смешивать мрачные божества, порожденные невежеством и страхом, с творцом природы? Вера в благостного бога— необходимое условие нравственности. Верховное существо— источник всех добродетелей: нельзя быть республиканцем, не веруя в бога. Робеспьер отлично сознавал это, когда распорядился убрать из залы заседаний якобинцев бюст философа Гельвеция, ибо Гельвеций, внушая французам идеи безбожия, тем самым располагал к рабству совращенных им людей... Надеюсь, по крайней мере, гражданин Бротто, что, когда республика установит культ Разума, вы не откажетесь стать последователем столь мудрой религии.

— Я люблю разум,— ответил Бротто,— но я не фанатический его поклонник. Разум руководит нами и служит нам светочем: когда вы сделаете из него божество, он ослепит вас и убедит в наличии преступлений.

И Бротто продолжал рассуждать, стоя в канаве, точно так же, как делал это прежде, сидя в одном из тех позолоченных кресел барона Гольбаха, которые, по его выражению, служили основой философии природы.

— Жан-Жак Руссо,— говорил он,— человек не бездарный, в особенности в области музыки, был пустомеля, воображавший, что он выводит свою философию из природы, а на самом деле заимствовавший ее у Кальвина. Природа учит нас пожирать друг друга

и являет нам пример всех преступлений и пороков, которые общественный строй исправляет или облекает покровом приличия. Надо любить добродетель, но не мешает знать, что это всего лишь средство, придуманное людьми ради удобства совместной жизни. То, что мы называем нравственностью, есть безнадежное посягательство нам подобных на мировой порядок, сущность которого — борьба, истребление и слепая игра противоположных сил. Нравственность сама себя уничтожает, и чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что весь мир одержим бешенством. Богословы и философы, объявляющие бога творцом природы и создателем вселенной, изображают его нелепым и злым. Они говорят о его благости, потому что боятся его, но вынуждены признать, что дела его крайне жестоки. Они приписывают ему злобу, редкую даже у человека. Именно этим способом они заставляют поклоняться ему. Ибо жалкий род людской не создал бы культа справедливых и милосердных божеств, которых ему нечего было бы бояться, и не питал бы к ним ненужной признательности за их благодеяния. Без чистилища и без ада господь бог был бы ничтожнейшим из всех существ.

— Сударь,— вмешался отец Лонгмар,— не говорите о природе: вы ее не знаете.

— Смеею вас уверить, что знаю ее так же хорошо, как и вы, отец мой!

— Вы не можете знать ее, ибо вы человек неверующий, а только вера учит нас тому, что представляет собою природа, что в ней добро и каким образом ее извратили. Впрочем, не думайте, что я собираюсь возражать вам: господь не одарил меня ни пламенным красноречием, ни достаточной силой ума, чтобы я мог опровергнуть ваши заблуждения. Боюсь, как бы по неумению своему, я не подал вам лишнего повода к богохульству и еще большему ожесточению, так что, несмотря на мое горячее желание быть вам полезным, единственным плодом моего навязчивого благожелательства могло бы оказаться...

Речь его прервал громкий гуд голосов, прокатившийся от начала до конца очереди и возвестивший голодным людям, что двери булочной отпирают. Все стали подвигаться вперед, но чрезвычайно медленно. Национальный гвардеец впускал покупателей по одному. Булочнику, стоявшему за прилавком вместе с женою и подмастерьем,

помогали два гражданских комиссара с трехцветной повязкой на левой руке, проверявшие, принадлежит ли потребитель к этой секции, и следившие за тем, чтобы он получил лишь то количество хлеба, какое полагалось ему по числу ртов в семье.

Гражданин Бротто видел конечную цель жизни в поисках наслаждений: он полагал, что разум и чувства, за отсутствием богов — единственные судьи человека, не могут иметь иной цели. Поэтому, найдя, что речи художника слишком фанатичны, а речи монаха слишком просты, чтобы доставить какое бы то ни было удовольствие, этот мудрый человек, стремясь согласовать при данных обстоятельствах свое поведение со своими философскими убеждениями и скрасить томительное ожидание, вытащил из оттопыренного кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция, бывший для него источником самых драгоценных утех и подлинного удовлетворения. Красный сафьяновый переплет был сильно потрепан от постоянного употребления; кроме того, гражданин Бротто благообразно соскреб с него три тисненых золотом островка — герб, за который его отец — откущик — в свое время заплатил немалые деньги. Он раскрыл книгу на той странице, где поэт-философ, желая исцелить мужчин от напрасных волнений любви, рассказывает о женщине, которую он застал в объятиях ее служанок в позе, способной оскорбить чувства любовника. Гражданин Бротто, перечитывая эти стихи, в то же время поглядывал на золотистый затылок своей хорошенькой соседки и сладострастно вдыхал запах влажной кожи этой замарашки. Поэт Лукреций признавал только одну мудрость; его ученик Бротто был многостороннее.

Он читал, подвигаясь каждые четверть часа на два шага. Тщетно в его слух, наслаждавшийся величавым и разнообразным ритмом латинской музыки, пытались вторгнуться крикливые жалобы кумушек на дороговизну хлеба, сахара, кофе, свечей и мыла. Так, невозмутимо спокойный, дошел он до двери булочной. Стоя за ним, Эварист Гамлен видел у него над головой золотистый сноп на железной решетке дверной фрамуги.

Художник в свою очередь вошел в булочную: корзины и полки были пусты. Булочник выдал ему последний кусок хлеба, в котором не было и двух фунтов. Эварист заплатил, и за ним тотчас же закрыли решетку из опасения, как бы возмущенный народ не ворвался в булочную. Но страхи эти были напрасны: бедные люди, приученные

к подчинению своими прежними угнетателями и теперешними освободителями, пошелась прочь, понутив головы.

Дойдя до угла, Гамлен увидел гражданку Дюмонтель. Бледная, без кровинки в лице, сидела она на тумбе с младенцем на руках. Она не двигалась, не плакала, не глядела. Ребенок жадно сосал ей палец. Гамлен на мгновение задержался перед ней, растерявшись, не зная что делать. Она, казалось, не замечала его.

Он пробормотал несколько несвязных слов, затем вынул из кармана складной нож с роговым черенком, разрезал хлеб пополам и положил половину на колени молодой матери, которая с удивлением посмотрела на него, но он уже скрылся за углом.

Вернувшись домой, Эварист застал мать у окна за штопаньем чулок. С веселой улыбкой он вручил ей остаток хлеба.

— Простите, мама, но я очень устал, простояв так долго в очереди, на жаре, на улице, и по дороге домой съел по кусочку половинку пайка. Осталась только ваша доля.

И он притворился, будто стряхивает крошки с жилета.

VII

V потребив старинное изречение, вдова Гамлен как-то заметила: „Питаясь одними каштанами, сам станешь каштановым“. Тринадцатого июля они с сыном пообедали в полдень жидким пюре из каштанов. Когда они кончали скромную трапезу, дверь распахнулась, и в мастерскую вошла дама, сразу наполнив все помещение блеском своей особы и запахом духов. Эварист узнал гражданку Рошмор. Решив, что она ошиблась дверью, разыскивая своего давнишнего друга, гражданина Бротто, он уже собрался показать ей ход на чердак, где жил бывший дворянин, или позвать Бротто вниз, чтобы не заставлять изящную женщину карабкаться по приставной лесенке; однако, как выяснилось сразу, ей нужен был именно гражданин Эварист Гамлен: по ее словам, она была счастлива, что застала его дома и может засвидетельствовать ему свое почтение.

Они были немного знакомы: несколько раз встречались в мастерской Давида, в местах для зрителей на заседаниях Учредительного собрания, у якобинцев, у ресторатора Венюа: красота, молодость и интересная внешность Эвариста привлекли ее внимание.

Шляпа гостя была перевита лентами, словно пастушья свирель, и украшена султанами из перьев, словно головной убор посланника; в парике, надушенная мускусом, облепленная мушками, гражданка Рошмор под густым слоем румян и белил еще сохранила свежесть кожи: все эти яростные ухищрения моды свидетельствовали о лихорадочной жажде жизни тех ужасных дней, когда никто не был уверен в будущем. Корсаж с большими отворотами и длинными полами, сверкавший огромными стальными пуговицами, был кроваво-красного цвета, но трудно было бы сказать, является ли этот цвет эмблемой жертв или палача,— до того гражданка Рошмор производила одновременно впечатление аристократки и революционерки. Ее сопровождал молодой военный, драгун.

С длинной перламутровой тростью в руке, высокая, полная, пышногрудая, красивая, она обошла мастерскую и разглядывала висевшие по стенам полотна, поднося к серым глазам золотой лорнет, улыбаясь, выражая вслух свой восторг, вызванный красотой художника, и рассыпаясь в похвалах, чтобы, в свою очередь, заслужить похвалы.

— Что это?—спросила гражданка.—Что означает эта картина? Какой благородный и трогательный вид у этой прекрасной кроткой женщины, склонившейся к юному больному!

Гамлен объяснил, что это „Электра у изголовья Ореста“ и что, если бы ему удалось окончить эту картину, она, вероятно, была бы наиболее удачным его произведением.

— Сюжет,—прибавил он,—заимствован из Еврипидова „Ореста“. Я как-то прочел в одном старинном переводе этой трагедии сцену, которая привела меня в восторг: юная Электра, приподняв брата на ложе скорби, вытирает пену на губах спрадальца, поправляет волосы, падающие ему на глаза, и умоляет горячо любимого брата выслушать ее, пока безмолвствуют фурии... Перечитав несколько раз это место, я все-таки чувствовал, что мой взор застилает как бы туман, мешающий мне различать греческие формы, который я никак не мог рассеять. Мне казалось, что текст оригинала должен звучать несколько иначе, и, во всяком случае, взволнованнее.

Охваченный горячим желанием получить о нем ясное понятие, я попросил господина Геля, преподававшего тогда (это было в девяносто первом году) греческий язык в Коллеж-де-Франс, перевести мне эту сцену дословно. Он исполнил мою просьбу, и я убедился, что древние гораздо проще и безыскусственнее, чем мы воображаем. Так, например, Электра говорит Оресту: „Любимый брат, как я рада, что ты уснул! Хочешь, я помогу тебе привстать?“ А Орест отвечает: „Да, помоги мне, приподыми меня, вытри пену, засохшую на губах и на глазах. Прижми меня к своей груди и поправь мне волосы: они закрывают мне глаза...“ Взволнованный до глубины души этой поэзией, столь юной и столь живой, этими словами, наивными и в то же время исполненными силы, я сделал этот набросок, привлекая к себе ваше внимание, гражданка.

Художник, обычно высказывавшийся крайне сдержанно о своих произведениях, по поводу этой картины мог говорить без конца. Ободренный знаком, который ему сделала гражданка Рошмор, поднесшая лорнет к глазам, он продолжал:

— Геннекен мастерски изобразил ярость Ореста. Но Орест волнует нас своей скорбью еще больше, чем яростью. Как трагична его судьба! Движимый сыновней любовью, покорный священным велениям, совершил он преступление, в котором боги должны его оправдать, но которого люди ему никогда не простят. Чтобы отомстить за поруганную справедливость, он преступил законы естества, отсекся от своей человеческой природы, вырвал сердце из своей груди. Он гордо несет бремя своего ужасного и доблестного злодеяния... Вот что мне хотелось выразить этой группой.

Подойдя к холсту, он разглядывал его с любовью.

— Некоторые места,— заметил он,— дописаны почти совсем; например, голова и рука Ореста.

— Восхитительная вещь... И Орест похож на вас, гражданин Гамлен.

— Вы находите?— степенно улыбнулся художник.

Она села на стул, который ей пододвинул Гамлен. Молодой драгун, стоя подле нее, оперся рукой на спинку стула. Уже одно это свидетельствовало о том, что произошла революция: при старом режиме мужчина никогда не позволил бы себе в обществе даже пальцем дотронуться до кресла, в котором сидит дама; ибо он был воспитан в правилах вежливости, иногда весьма стеснительных, и



кроме того считал, что сдержанность в обществе придавала особую цену вольному обращению с глазу на глаз и что, дабы потерять уважение, надлежало его иметь.

Луиза Маше-де-Рошмор, дочь поручика королевского егерского полка, вдова прокурора и в течение двадцати лет верная подруга финансиста Бротто-дез-Илетт, примкнула к новым идеям. В июле 1790 года видели, как она рыла землю на Марсовом поле. Свою неодолимую склонность к властям предержажим она легко перенесла с фельянов на жирондистов, затем на монтаньяров, но в то же время, благодаря врожденной любви к компромиссам, чрезмерной общительности и какой-то страсти к интригам, гражданка Рошмор не порывала связи с аристократами и контрреволюционерами. Это была особа, знакомая решительно со всеми, посещавшая кабачки, театры, модных рестораторов, игорные дома, салоны, редакции газет, приемные комитетов. Революция принесла ей всякие новшества, развлечения, удовольствия, радости, дела, доходные предприятия. Заводя политические и любовные интриги, играя на арфе, рисуя пейзажи, исполняя романсы, танцуя греческие танцы, задавая ужины, принимая у себя красивых женщин, вроде графини де-Бюфор или актрисы Декуэн, просиживая ночи напролет за игрой в тридцать одно, бириби или рулетку, она находила еще время для друзей, которых не оставляла своим вниманием. Любопытная, деятельная, взбалмошная, фривольная, изучив мужчин, но совсем не зная толпы, чуждая взглядам, которые она разделяла, не в меньшей мере, чем тем, которые она принуждена была отвергать, совсем не понимая, что творится во Франции, она была предприимчива, смела и отважна, как потому, что не сознавала опасности, так и потому, что безгранично верила в могущество своих чар.

Сопровождавший ее военный был совсем молодой человек; медный шлем, украшенный шкурой пантеры, с гробом, отделанным пунцовой синелью, отбрасывал тень на его лицо херувима, а страшная длинная грива ниспадала на спину. Красная куртка, в форме нагрудника, доходила лишь до бедер, чтобы не скрывать их изящного изгиба. У пояса висел огромный палаш со сверкающей рукоятью в виде орлиного клюва. Бледноголубые штаны, застегивавшиеся сбоку, плотно облегли его красивые ноги, пышные узоры темно-синего суташа украшали ляжки. Он имел вид танцовщика, наряженного для воинственной и галантной роли, чтобы какой-нибудь

ученик Давида, стремящийся лаконично передать формы, мог писать с него „Ахилла на Скиросе“ или „Бракосочетание Александра“.

Гамлен смутно помнил, что он как будто уже встречал его. Действительно, это был тот самый военный, которого он недели две тому назад видел на галерее Национального театра ораторствующим перед толпой.

Гражданка Рошмор представила его:

— Гражданин Анри, член Революционного комитета секции Прав Человека.

Она всюду таскала его с собой: он был для нее зеркалом любви и живым свидетельством ее патриотизма.

Гражданка еще раз рассыпалась в похвалах таланту Гамлена и спросила, не согласится ли он написать вывеску для модистки, которой ей хотелось бы помочь. Он мог бы изобразить подходящий сюжет: например, женщину, примеряющую шарф перед „психеей“, или юную мастерицу со шляпной картонкой в руке.

Как на людей, способных выполнить эту небольшую работу, ей указали на Фрагонара-сына, на молодого Дюси, а также на некоего Прюдома, но она предпочла обратиться к Эваристу Гамлену. Однако она не высказалась определенно по этому поводу, и вообще чувствовалось, что заказ был лишь предлогом, чтобы завязать разговор. На самом деле ее привело сюда нечто совсем другое. Зная, что гражданин Гамлен знаком с гражданином Маратом, она просила оказать ей услугу и представить ее Другу Парода, с которым она желала побеседовать.

Гамлен ответил, что он человек слишком незначительный, чтобы ввести ее в дом к Марату, и что, в конце концов, ей не нужно никакого посредника: как ни занят Марат, он все-таки, вопреки тому, что говорят, доступен любому гражданину.

И Гамлен прибавил:

— Он примет вас, гражданка, если вы несчастны, ибо у него великое сердце, отзывчивое на страдания и жалостливое к скорбящим. Он примет вас, если вы намерены сделать ему какое-нибудь сообщение, касающееся общественного блага: он посвятил себя делу разоблачения изменников.

Гражданка Рошмор ответила, что она была бы счастлива приветствовать в лице Марата знаменитого гражданина, оказавшего отечеству великие услуги, способного оказать еще бóльшие, и что она

хотела бы свести этого законодателя с богатыми филантропами, которые имеют благие намерения и могли бы дать ему новые средства удовлетворить его пылкую любовь к человечеству.

— Желательно,— прибавила она,— привлечь богачей к деятельности на пользу общества.

На самом же деле гражданка обещала банкиру Морхардту свести его за обедом с Маратом.

Швейцарец, как и Друг Парода, Морхардт вошел в соглашение с несколькими членами Конвента— Жюльеном (из Тулузы), Делоне (из Анжера) и бывшим капуцином Шабо— в целях спекуляции акциями Индийской компании. Эта крайне несложная игра сводилась к тому, чтобы путем мошеннических махинаций заставить упасть акции до шестисот пятидесяти ливров и, купив их по этой цене в возможно большем количестве, успокоительными мероприятиями вздуть затем цену до четырех-пяти тысяч. Но Шабо, Жюльен, Делоне были окончательно скомпрометированы. Лакруа, Фабр д'Эглаптин и даже Дантон находились под подозрением. Главный биржевой воротила, барон де-Батц, искал в Конвенте новых сообщников и советовал банкиру Морхардту познакомиться с Маратом.

Мысль контрреволюционной шайки спекулянтов была не так неправдоподобна, как это казалось с первого взгляда. Эти люди всегда старались завязать сношения с теми, кто в данный момент стоял у власти, а Марат, благодаря своей популярности, перу, характеру, являлся огромной силой. Дни жирондистов были сочтены; дантонисты, сраженные бурей, выпустили из рук кормило правления. Народный кумир, Робеспьер, был неподкупно честен, подозрителен и недоступен. Поэтому необходимо было обойти Марата, заручиться его благосклонностью в ожидании того дня, когда он станет диктатором; а все говорило за то, что он им станет: его популярность, его честолюбие, его склонность к решительным мерам. В конце концов, не было ничего невозможного в том, что Марат восстановит порядок, финансы, благосостояние. Уже не раз ополчился он против фанатиков, пытавшихся превзойти его своим патриотизмом; с некоторого времени он изобличал демагогов почти так же, как умеренных. После того, как он убеждал народ вешать спекулянтов, разграбив их лавки, теперь он призывал граждан к спокойствию и благоразумию: он становился государственным мужем.

Несмотря на слухи, распространяемые о нем, как и о прочих

деятелях революции, эти хищники не сомневались в его неподкупности; но они знали, что он тщеславен и легковверен, и надеялись обойти его лестью и в особенности снисходительно-фамильярным обращением, которое, по их мнению, было приятней всякой лести. Они рассчитывали при его содействии играть на повышении и понижении всех ценностей, которые они пожелали бы купить или продать, и полагали, что он будет служить их интересам, воображая, будто работает лишь на благо общества.

Сводня по призванию, хотя она еще не достигла того возраста, когда женщина отказывается от любви, гражданин Рюшмор задумался целью свести законодателя-журналиста с банкиром, и ее безумная фантазия рисовала ей революционера, с руками, еще обгоревшими кровью сентябрьских жертв, участником шайки финансистов, агентом которых она состояла; она уже ясно представляла себе его втянутым, в силу свойственной ему чувствительности и доверчивости, в самый центр биржевых спекуляций, в круг людей, которых она так любила, — в мир скупщиков, поставщиков, заграничных эмиссаров, крупье, светских Цирцей.

Она настаивала на том, чтобы Гамлен повел ее к Другу Народа, живущему неподалеку, на улице Кордельеров, близ держки. После некоторого сопротивления художник уступил желанию гражданки.

Драгун Анри, которому они предложили присоединиться к ним, отказался, ссылаясь на то, что он хочет сохранить свободу даже по отношению к гражданину Марату, оказавшему, бесспорно, услуги республике, но в последнее время обнаружившему некоторые признаки слабости: разве не он в своей газете советовал парижскому населению мириться с выпадающими ему на долю тяготами?

И Анри мелодичным голосом, перемежая свою речь глубокими вздохами, оплакивал республику, преданную теми, на кого она возложила все свои упования: Робеспьером, восстающим против незыблемости секций; Маратом, чьи малодушные советы угашают пыл граждан.

— Ах, — воскликнул он, — какими слабыми кажутся эти люди по сравнению с Деклерком и Жаком Ру!.. Ру... Деклерк! Вы — истинные друзья народа!

Гамлен не слышал этих речей, которые, несомненно, возмутили бы его: он вышел в соседнюю комнату, чтобы переодеться в голубой фрак.

— Вы можете гордиться сыном,— сказала гражданка Рошмор гражданке Гамлен.— Он так талантлив и так благороден!

Вдова Гамлен подтвердила достоинства своего сына, однако сделала это несколько не кичась перед дамой знатного происхождения, так как ей с детства внушали, что смирение перед сильными мира сего — первейшая обязанность бедных людей. Имея не мало поводов быть недовольной своей судьбой, она всегда была склонна жаловаться на нее, и эти жалобы приносили ей некоторое облегчение. Она охотно делилась своим горем со всяким, кого считала в состоянии помочь ей, и госпожа Рошмор произвела на нее впечатление именно такой особы. Воспользовавшись благоприятным моментом, она одним духом рассказала о нужде, в которой находились они с сыном, чуть не помирая с голоду. Картин никто не покупал: революция, как ножом, подрезала торговлю. Съестных припасов мало, и они недоступны.

И старушка со всей быстротой, на какую только были способны ее дряблые губы и неповоротливый язык, торопилась выложить все, что могла, до появления Эвариста, который из гордости не одобрил бы этих сетований. Она старалась поскорее разжалобить и заинтересовать участью сына даму, которую считала богатой и влиятельной. И она сознавала, что красота Эвариста поможет ей растрогать знатную посетительницу.

Действительно, гражданка Рошмор не осталась нечувствительной: она растрогалась при мысли о страданиях Эвариста и его матери и призадумалась над тем, каким образом можно им помочь. Она заставит своих друзей богатых людей, покупать картины художника!

— Есть еще деньги во Франции,— сказала она, улыбаясь,— только их не держат на виду.

Или нет, еще лучше: раз искусство погибло, она устроит Эвариста на службу к Морхардту либо к братьям Перрего, либо определит его в качестве доверенного лица к какому-нибудь военному поставщику.

Но потом она решила, что для человека с таким характером это неподходящее дело. После минутного размышления она радостно всплеснула руками:

— Остается назначить еще нескольких присяжных заседателей в Революционный трибунал. Присяжный, судья — вот кем должен

быть ваш сын! Я знакома с членами Комитета общественного спасения; я знаю Робеспьера-старшего; его брат часто ужинает у меня. Я переговорю с ними. Я попрошу кого следует переговорить с Монтане, с Дюма, с Фукье.

Гражданка Гамлен, взволнованная, преисполненная благодарности, приложила палец ко рту: в мастерскую входил Эварист.

Вместе с гражданкой Рошмор он спустился по темной лестнице, деревянные ступени которой, выложенные изразцами, были покрыты слоем давнишней грязи.

На Повом мосту, где солнце, уже клонившееся к закату, удлиняло тень от пьедестала, на котором некогда красовался бронзовый конь и который теперь был расцвечен национальными флагами, группы мужчин и женщин из простонародья прислушивались к речам отдельных граждан, говоривших шопотом. Толпа, подавленная, хранила молчание, порою прерывая его стонами и гневными возгласами. Многие поспешным шагом направлялись на Тионвильскую улицу, бывшую улицу Дофина. Гамлен, подойдя к одной из кучек, узнал, что только что убили Марата.

Мало-помалу известие подтвердилось; сообщали подробности: его заколола в ванне женщина, прибывшая нарочно из Кана, чтобы совершить это преступление.

Некоторые предполагали, что она спаслась бегством, но большинство утверждало, что ее задержали.

Они толклись, как стадо, покинутое пастухом.

„Пет уже Марата,— думали они,— чувствительного, отзывчивого, доброго Марата, руководившего нами, никогда не ошибавшегося, угадывавшего все, смело разоблачавшего все козни!.. Как быть, что делать? Мы потеряли нашего советчика, нашего защитника, нашего друга“. Они знали, откуда нанесен удар и кто направил руку этой женщины.

— Марат,— тяжело вздыхали они,— убит теми же преступными руками, которые хотят и нас уничтожить. Его смерть — сигнал к поголовному истреблению всех патриотов.

По-разному передавали подробности этой трагической смерти и последние слова жертвы; расспрашивали об убийце, о которой было известно только то, что это — молодая женщина, подосланная изменниками-федералистами. Гражданки в исступлении настаивали на немедленной казни преступницы и, находя смерть на гильотине

слишком легкой, требовали для этого изверга бича, колесования, четвертования,—изобретали новые пытки.

Пациональные гвардейцы, с пашками наголо, волокли в секцию какого-то человека с решительным выражением лица. Одежда на нем висела ключьями; кровь тонкими струйками стекала по бледным щекам. Его схватили в ту минуту, когда он говорил, что Марат заслужил свою участь, так как сам постоянно призывал к грабежам и убийствам. И с большим трудом страже удалось укрыть его от ярости толпы. На него указывали пальцем, как на сообщника убийцы, ему угрожали смертью.

Гамлен одепенел от скорби. Скудные слезы сохли у него на воспаленных глазах. К сыновнему горю примешивались патриотическая тревога и любовь к народу, раздравшие ему сердце.

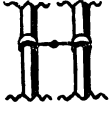
„После Ле-Пельтье,—думал он,—после Бурдона—Марат!.. Вот он, жребий патриотов: перебиты на Марсовом поле, в Панси, в Париже; погибнут все“. И мысль его обращалась к изменнику Вимпфену, который еще недавно, во главе шестидесятитысячной орды роялистов, шел на Париж, и, если бы под Верноном ему не преградили дороги доблестные патриоты, он предал бы огню и мечу героический, многострадальный город.

А сколько еще впереди опасностей, сколько преступных замыслов, сколько измен, которые могла бы предугадать и раскрыть только мудрость и бдительность Марата! Кто, кроме него, смог бы изобличить Кюстина, бездействующего в лагере Цезаря и отказывающегося освободить от блокады Валансьен? Бирона, ничего не предпринимающего в Пижней Вандее, допускающего взятие Сомюра и Панта? Диллона, предающего родину в Аргоннах?..

Вокруг него с каждой минутой усиливались зловещие вопли: — Марата нет в живых! Его убили аристократы!

Когда, исполненный скорби, ненависти и любви, он уже направлялся отдать последний долг мученику свободы, старуха-крестьянка в шерстяном чепце подошла к нему и спросила, какого это господина Марата убили: не священника ли из Сен-Пьерде-Керуа?

VIII

 акануне праздника, ясным и тихим вечером, Элоди под руку с Эваристом прогуливалась по полю Федерации. Рабочие спешно заканчивали возведение колонн, статуй, храмов, горы, жертвенника. Гигантские символы — народ в образе Геракла, размахивающего палицей, и Природа, питающая своими неистощимыми сосцами вселенную, — внезапно выросли в столице, находившейся во власти голода и террора, прислушивавшейся, не грохочут ли уже на дороге из Мо австрийские пушки. Вандея смелыми победами возмещала свое поражение под Нантом. Кольцо железа, огня и ненависти смыкалось вокруг великого революционного города. И все же с великолепием властелина обширной империи он принимал депутатов провинциальных собраний, признавших конституцию. Федерализм был побежден: единая, неделимая республика одержит верх над всеми врагами.

— Вот здесь, — промолвил Эварист, указывая рукой на площадь, усеянную толпой, — семнадцатого июня девяносто первого года гнусный Байи расстреливал народ у подножия алтаря отечества. Гренадер Пассаван, свидетель этой бойни, вернувшись домой, изорвал на себе мундир и воскликнул: „Я дал клятву умереть вместе со свободой; ее больше не существует — я умираю!“ И пустил себе пулю в лоб.

Но художники и мирные буржуа глазели на приготовления к празднику, и на их лицах можно было прочесть такую же тусклую любовь к жизни, какой была и самая их жизнь: величайшие события, проникая в их сознание, приравнивались к их мерке и становились столь же ничтожными, как и они. Каждая чета шла, держа на руках, волоча за руку или пропустив вперед детей, которые были не красивее своих родителей, не обещали стать счастливее их и должны были дать жизнь другим детям, так же обделенным радостью и красотой. Лишь изредка попадалась навстречу рослая, красивая девушка, внушавшая молодым людям дерзкие желания, а старикам — сожаления о прежней, милой их сердцу жизни.

Около Военной школы Эварист обратил внимание Элоди на изображения египетских статуй, исполненные Давидом по римским образцам эпохи Августа. При виде их какой-то напудренный старик, парижанин, воскликнул:

— Можно подумать, что находишься на берегах Нила!



За те три дня, что Элоди не видала своего друга, в „Амуре-Художнике“ произошли важные события. На гражданина Блеза был сделан донос в Комитет общественной безопасности по обвинению в мошенничестве при поставках в армию. К счастью, у торговца эстампами оказались знакомства в секции: Наблюдательный комитет секции Пик поручился за его благонадежность перед Комитетом общественной безопасности, и Блеза совершенно оправдали.

С волнением рассказав об этом, Элоди прибавила:

— Теперь мы успокоились, но тревоги было достаточно. Отца чуть было не посадили в тюрьму. Еще немного, и я обратилась бы к вам, Эварист, с просьбой похлопотать за отца у ваших влиятельных друзей.

Эварист ничего не ответил. Элоди даже не поняла всей значительности его молчания.

Они шли, держась за руки, вдоль крутого берега Сены. Они обменивались нежностями на языке Жюли и Сен-Пре: добрый Жан-Жак предоставил к их услугам все средства расписывать и украшать свою любовь.

Городское управление совершило чудо, создав на один день в голодающем городе полное изобилие. На площади Инвалидов, близ реки, раскинулась ярмарка: в ларьках продавали сосиски, вареную, копченую и сервелатную колбасу, окорока, обложенные лавровым листом, нантерские пирожные, пряники, блины, четырехфунтовые хлеба, лимонад и вино. В других бараках торговали патриотическими песнями, кокардами, трехцветными лентами, кошельками, медными дупочками и иными мелкими украшениями. Остановившись у прилавка скромного ювелира, Эварист выбрал серебряное кольцо с рельефным изображением головы Марата, повязанной платком. Он надел этот перстень на палец Элоди.

В тот же вечер Гамлен отправился на улицу Сухого Дерева к гражданке Рошмор, пригласившей его по срочному делу. Она приняла его в спальне, лежа на кушетке, в кокетливом пенюаре.

Поза гражданки выражала сладострастную томность, а все вокруг говорило об ее прелестях, об ее вкусах и талантах: арфа возле открытого клавесина; гитара на кресле; пальцы с натянутым для вышивания атласом; на столе — начатая миниатюра, бумага, книги; книжный шкаф, в беспорядке, перерытый прелестной ручкой, казалась торопившейся все изведать и перечувствовать.

— Привет, гражданин присяжный!..— сказала она, протягивая ему руку для поцелуя.— Сегодня Робеспьер-старший передал мне для вас отлично составленное письмо к председателю Эрману; вот приблизительно его содержание: „Рекомендую вам гражданина Гамлена, своими способностями и патриотизмом заслуживающего, чтобы на него обратили внимание. Считаю долгом указать вам на патриота, чьи принципы и поведение во всем согласуются с революционными идеями. Вы не преминете воспользоваться случаем быть полезным республиканцу...“ Я немедленно отвезла письмо Эрману, который принял меня с отменной любезностью и тотчас же подписал приказ о вашем назначении. Это дело решенное.

— Гражданка,— ответил после минутной паузы Гамлен,— хотя мне нечем прокормить даже мать,— клянусь честью, что я принимаю должность присяжного только затем, чтобы служить республике и отомстить всем ее врагам.

Гражданка нашла благодарность холодной, а поклон сдержанным. Она даже заподозрила Гамлена в невежливости. Но она слишком любила молодых людей, чтобы не простить ему суровости. Гамлен был хорош собою: в ее глазах это было достоинством. „На него наведут лоск“,— подумала она и пригласила его к себе на ужины: каждый вечер после театра у нее бывали гости.

— Вы встретите у меня умных и талантливых людей: Эльвиу, Тальма, гражданина Виже, с поразительной легкостью пишущего стихи на заданные рифмы. Гражданин Франсуа читал нам свою „Памелу“, которую теперь репетируют в Национальном театре. Ее стиль изящен и чист, как все, что выходит из-под пера гражданина Франсуа. Трогательная пьеса: она заставила нас проливать слезы. Роль Памелы поручена молодой Ланж.

— Вполне полагаюсь на ваше суждение, гражданка,— ответил Гамлен.— Но я нахожу, что Национальный театр недостаточно национален. Обидно за гражданина Франсуа, что его творения выносятся на подмостки, оскверненные жалкими виршами Лейя: у всех еще на памяти позорный провал „Друга законов“...

— Гражданин Гамлен, я не собираюсь заступаться за Лейя; он не принадлежит к числу моих друзей.

Вовсе не по доброте сердечной, пустив в ход все свое влияние, добилась гражданка Рошмор назначения Гамлена на завидную должность, которой домогались многие: после всего, что она сделала

и при случае еще могла бы сделать для него, она надеялась навсегда завоевать его расположение и заручиться поддержкой в суде, с которым рано или поздно ей, возможно, придется иметь дело, ибо она рассылала много писем во Францию и за границу, а такая переписка в то время казалась подозрительной.

— Часто бываете вы в театре, гражданин?

В эту минуту в комнату вошел драгун Анри, превосходящий красотой юного Бафилла. Два огромных пистолета были заткнуты у него за пояс.

Он поцеловал руку очаровательной гражданки.

— Вот,— обратилась к нему она,— гражданин Эварист Гамлен, ради которого я провела целый день в Комитете общественной безопасности, а он и не думает быть мне признательным. Пожурите его.

— Ах, гражданка,— воскликнул Анри,— вы были у наших законодателей в Тюильри! Какое удручающее зрелище! Допустимо ли, чтобы представители свободного народа заседали в чертогах деспотизма? При блеске тех же самых люстр, которые освещали заговоры Капета и оргии Антуанетты, теперь по ночам работают наши законодатели! Вся природа содрогнется при виде этого.

— Поздравьте, друг мой, гражданина Гамлена,— ответила она:— он назначен присяжным Революционного трибунала.

— Поздравляю, гражданин!— сказал Анри.— Я счастлив видеть человека с твоим характером, облеченного судебной властью. Но, говоря правду, я мало доверяю этой методической юстиции, созданной умеренными элементами Конвента, этой благодушной Немезиде, которая попустительствует заговорщикам, щадит изменников, не осмеливается нанести решительный удар федералистам и боится призвать к ответу австриячку. Нет, не Революционный трибунал спасет республику! Тяжкую вину взяли на свою душу те, кто при нашем отчаянном положении остановили стихийный порыв народного правосудия.

— Анри,— сказала гражданка Рошмор,— дайте-ка мне вон тот флакон...

Вернувшись домой, Гамлен застал мать и старика Бротто за игрой в пикет при свете сальной свечи. Гражданка без тени смущения объявляла „терц с королем“.

Узнав, что сын ее назначен присяжным, она пылко обняла его, подумав, что это было большой честью для них обоих и что отныне они каждый день будут сыты.

— Я счастлива и горда тем, что я — мать присяжного, — сказала она. — Правосудие — прекрасная вещь и самая необходимая на свете: без правосудия слабые терпели бы притеснения на каждом шагу. Я верю, мой Эварист, что из тебя выйдет хороший судья, ибо с малых лет ты во всем был справедлив и мягкосердечен. Ты не мог выносить несправедливости и всегда по мере сил противился насилию. Ты жалел обездоленных, а ведь ничто так не украшает судью, как сострадание... Но, скажи мне, Эварист, как вы одеты в этом Трибунале?

Гамлен объяснил, что судьи носят шляпу с черными перьями, но что для присяжных не установлено никакой формы: они заседают в обыкновенном платье.

— Было бы лучше, — возразила гражданка, — если бы они носили мантию и парик: это придавало бы им более внушительный вид. Правда, ты хорош собой, невзирая на то, что часто одеваешься небрежно, и не платье красит тебя, а ты его, но большинству мужчин необходимо принаряжаться, если они хотят произвести впечатление: было бы лучше, если бы присяжные облачились в мантию и парик.

Гражданка слышала, что должность присяжного в Трибунале связана с какими-то доходами; она не удержалась и спросила, достаточно ли велики эти доходы, чтобы можно было жить прилично, потому что, — объяснила она, — положение присяжного обязывает.


Она с удовлетворением узнала, что присяжные получают вознаграждение в размере восемнадцати ливров за заседание и что большое количество преступлений против государственной безопасности требует частых заседаний.

Старик Бротто собрал карты, встал из-за стола.

— Гражданин, — сказал он Гамлену, — на вас возложены высокие и грозные полномочия. Поздравляю вас: вы предоставите отныне свою просвещенную совесть на службу Трибуналу, действующему, быть может, более уверенно и непогрешимо, чем всякий иной, ибо он пытается установить сущность добра и зла не самих по себе, а лишь соотносительно с выраженными интересами и очевидными

чувствами. Вам придется выбирать между ненавистью и любовью, что всегда происходит непосредственно, а не между истиной и заблуждением, распознавание которых недоступно слабому человеческому разуму. Подчиняясь влечениям своего сердца, вы не рискуете ошибиться, так как ваш приговор всегда будет правилен, если только он будет основываться на страстях, являющихся для вас священным законом. Впрочем, если бы я был вашим председателем, я поступал бы всякий раз, как Бридуа: разрешал бы вопрос метанием жребия. В деле правосудия это все-таки самый верный способ.

IX

варист Гамлен должен был вступить в исполнение своих обязанностей 14 сентября, как раз во время реорганизации Трибунала, разделенного отныне на четыре секции с пятнадцатью присяжными в каждой. Тюрьмы были переполнены; общественный обвинитель работал по восемнадцати часов в сутки. Разгрому армий, восстаниям в провинциях, заговорам, комплотам, изменам Конвент противопоставлял террор. Боги жаждали.

Прежде всего новый присяжный отправился засвидетельствовать свое почтение председателю Эрману, который очаровал его кротостью речей и любезным обхождением. Земляк и друг Робеспьера, разделявший его взгляды, он был, повидимому, человеком добродетельным и чувствительным. Он был насквозь проникнут гуманными чувствами, которые слишком долго оставались чуждыми сердцам судей и которые навеки одели славой имя Дюпати и Беккарии. Он искренно радовался смягчению нравов, в области судебной выразившемуся в отмене пытки и позорных или жестоких казней. Он с удовлетворением думал о том, что смертная казнь, которая некогда так широко применялась и еще недавно служила обычной мерой пресечения незначительных проступков, теперь стала более редким явлением и к ней приговаривали лишь за тяжкие преступления. Со своей стороны, он, как и Робеспьер, охотно отказался бы от нее во всех случаях, когда дело не касалось общественной без-

опасности. Но он считал бы изменой государству не карать смертью преступлений, совершенных против верховной власти народа.

Все его товарищи придерживались такого же образа мыслей: в основе деятельности Революционного трибунала лежала старая монархическая идея государственного блага. Восемь веков самодержавной власти наложили печать на этих судей, и они судили врагов свободы, исходя из принципов божественного права.

В тот же день Эварист Гамлен представился общественному обвинителю, гражданину Фулье, который принял его в своем кабинете, где работал вместе с секретарем. Это был человек могучего телосложения, с грубым голосом и колючими глазами; его широкое рябое лицо, со свинцовым оттенком, явно свидетельствовало о вреде, который приносит сидячая, затворническая жизнь людям крепким, созданным для здорового физического труда на вольном воздухе. Папки с делами обступали его со всех сторон, как стены гробницы, но он, повидимому, любил эту чудовищную гряду бумаг, казалось собирающуюся схоронить его под собою. Говорил он, как должно говорить трудолюбивому, поглощенному исполнением своих обязанностей чиновнику, умственный кругозор которого ограничен интересами службы. От него разило водкой, которую он пил для поддержания сил, но, казалось, она нисколько не влияла на его мозг — столько трезвости было в его суждениях, всегда посредственных.

Жил он в маленькой квартирке в здании суда с молодой женой, подарившей ему двух близнецов. Она, да тетка Генриетта, да служанка Пелажи составляли все его семейство. Со всеми тремя женщинами он был ласков и добр. Словом, это был отличный семьянин и превосходный работник, не слишком далекий и лишенный всякого воображения.

Гамлен не без огорчения заметил, как сильно похожи образом мыслей и манерами теперешние судейские на судейских старого режима. Да они и были ими: Эрман в прежнее время занимал должность помощника прокурора при окружном суде в Артуа; Фулье служил прокурором в Шатле. Они ни в чем не изменились. Но Эварист Гамлен верил, что революция способна совершенно переродить человека.

Выйдя из здания суда, он прошел через галерею и остановился перед лотками, на которых были искусно расставлены всевозмож-

ные предметы. На прилавке, за которым торговала гражданка Тено, он перелистал несколько исторических, политических и философских сочинений: „Оковы рабства“, „Опыт о деспотизме“, „Преступления королей“. „В добрый час! — подумал он. — Это — подлинно республиканские произведения“. И спросил у продавщицы, покупают ли эти книги. Гражданка Тено покачала головой:

— Идут только песенки да романы.

И достав из ящика небольшой томик, она показала его Гамлену:

— Вот хорошая книжка.

Гамлен прочитал заглавие: „Монахиня в сорочке“.

Перед соседним ларем, принадлежавшим гражданке Сен-Жор, среди флаконов с духами, коробок пудры и саше, он увидел Филиппа Демай: обаятельный и нежный, он уверял прелестную продавщицу в любви, обещал нарисовать ее портрет и просил назначить ему сегодня вечером свидание в Тюильрийском саду. Он был красив. Убедительность текла с его уст и сверкала в глазах.

Гражданка Сен-Жор молча внимала ему и, почти подавшись на его уверения, потупляла глаза.

Желая поближе познакомиться с грозными обязанностями, которыми отныне он был облечен, вновь назначенный присяжный решил в качестве зрителя присутствовать на одном из заседаний Трибунала. Он поднялся по лестнице, на которой, как в амфитеатре, сидело множество народу, и вошел в старинный зал парижского парламента.

Там была давка: судили какого-то генерала. В ту пору, как говорил старик Бротто, „Конвент, по примеру его величества, короля Британии, привлекал к ответственности полководцев побежденных, за отсутствием полководцев изменивших, которые находились за пределами досягаемости. И делалось это, — прибавлял Бротто, — вовсе не потому, что побежденный полководец — непременно преступник; ведь в каждом сражении одна сторона всегда оказывается побежденной. Но нет лучшего средства поднять воинский дух полководцев, как приговорив к смерти одного из них“.

Уже немало этих легкомысленных упрямцев, с птичьими мозгами в бычьих черепах, перебивало к тому времени на скамье подсудимых. Тот, кто сидел на ней сегодня, разбирался в осадах и сражениях, которые он вел, не больше, чем допрашивавшие его судьи: обвинение

и защита путались в численном составе войск, боевых заданиях, снаряжении, маршах и контрмаршах. А толпе граждан, следившей, ничего не понимая, за бесконечными прениями, мерещилась за спиной этого тупицы-военного родина, открытая вторжению неприятеля, раздираемая на части, истекающая кровью; взглядами и возгласами зрители понуждали присяжных, спокойно сидевших на скамье, обрушить приговор, как тяжкую палицу, на врагов республики.

Эварист всем своим существом сознавал: в лице этого ничтожного человека следовало нанести удар двум страшным чудовищам, терзавшим отечество,—мятежу и поражению. Стоило, в самом деле, выяснять, виновен или невиновен этот военный!

Когда Вандея опять подымала голову, когда Тулон сдавался неприятелю, когда Рейнская армия отступала перед майнцскими победителями, когда Северная армия, стянутая к лагерю Цезаря, могла, в результате стремительного натиска врага, оказаться в плену у имперских войск, англичан и голландцев, уже завладевших Валансьеном,—только одно было важно: научить генералов побеждать или умирать. При виде этого немощного и слабоумного солдафона, запутавшегося на суде в своих картах так же, как он растерялся там, в равнинах севера, Гамлен, чтобы не крикнуть вместе со всеми „смерть ему!“, поспешно вышел из зала.

На собрании секции председатель ее, Оливье, поздравил Гамлена с назначением, заставил нового присяжного поклясться на бывшем алтаре варнавитов, превращенном в алтарь отечества, что он заглушит в своей душе, во имя священного человечества, все человеческие слабости.

Гамлен, подняв руку, призвал в свидетели своей клятвы священную тень Марата, мученика свободы, бюст которого недавно водрузили у подножия одной из колонн бывшей церкви, напротив бюста Ле-Пельтье.

Раздались аплодисменты, но послышался и ропот. Собрание было бурное. У входа горланила группа секционеров, вооруженных пиками.

— Это совсем не по-республикански,—заметил председатель,—являться вооруженными на собрание свободных людей.

И приказал немедленно сложить ружья и пики в бывшей ризнице. Горбун с живыми глазами и выпяченными губами, гражданин



Бовизаж, член Наблюдательного комитета, поднялся на кафедру, превращенную в трибуну и увенчанную красным колпаком.

— Генералы нам изменяют,— сказал он,— и предают наши армии неприятелю. Имперские войска совершают кавалерийские рейды до Перона и Сен-Кентена, Тулон сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек. Враги республики злоумышляют в лоне самого Конвента. В столице не оберешься заговоров, направленных к освобождению австриячки. В настоящую минуту носят слухи, что сын Капета, бежавший из Тампля, с торжеством доставлен в Сен-Клу; для него хотят восстановить престол тирана. Возрождение съестных припасов, обесценение ассигнаций— все это результаты происков иностранных агентов в сердце нашей страны, и все это происходит у нас на глазах. Во имя общественного спасения я требую от гражданина присяжного быть беспощадным к заговорщикам и предателям.

Когда он спускался с трибуны, в собрании раздались возгласы: „Долой Революционный трибунал! Долой умеренных!“

Жирный, румяный гражданин Дюпон-старший, стоял с Тионвилльской площади, взшел на трибуну, желая, как он заявил, обратиться с вопросом к гражданину присяжному. И он осведомился у Гамлена, как тот намерен повести себя в деле бриссотинцев и вдовы Капета.

Эварист был робок и не умел говорить публично. Но негодование вдохновило его. Он поднялся, бледный, и произнес глухим голосом:

— Я—судья. Я справляюсь со своей совестью. Всякое обещание, которое я дам вам, будет противно моему долгу. Я обязан говорить в Трибунале и хранить молчание вне его. Я вас не знаю больше. Я—судья: я не знаю ни друзей, ни врагов.

Собрание, как и все собрания, разношерстное, нерешительное и непостоянное, наградило его рукоплесканиями. Но гражданин Дюпон-старший не унимался: он не мог простить Гамлену, что тот занял должность, о которой он сам мечтал.

— Я понимаю,— сказал он,— и даже одобряю шепетильность гражданина присяжного. Говорят, он патриот: пускай же сам подумает, позволяет ли ему совесть заседать в Трибунале, учрежденном для уничтожения врагов республики, в действительности же решившем их щадить. Есть дела, от участия в которых добропорядочный гра-

жданин обязан воздерживаться. Разве не доказано, что несколько присяжных этого Трибунала были подкуплены золотом обвиняемых и что председатель Монтане совершил подлог, чтобы спасти голову девицы Корде?

При этих словах зал разразился громом аплодисментов. Последние их всплески еще оглашали своды, когда на трибуну поднялся Фортюне Трюбер. Он очень похудел за последние месяцы. На бледном лице резко выделялись красные скулы; веки у него были воспалены, а глаза казались стеклянными.

— Граждане,— начал он слабым, немного задыхающимся, но глубоко проникновенным голосом,— нельзя подозревать Революционный трибунал, не подозревая в то же время Конвента и Комитета общественного спасения, учредивших его. Гражданин Бовизаж поселил в наших сердцах тревогу, указав на председателя Монтане, прибегнувшего к подлогу в интересах подсудимого. Почему же он не прибавил для нашего успокоения, что, по донесению общественного обвинителя, Монтане отрешили от должности и посадили в тюрьму?.. Разве нельзя заботиться об общественном спасении, не сея повсюду подозрений? Разве уже окончательно оскудел талантами и добродетелями Конвент? Неужели Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст не честные люди? Странно, что самые неистовые речи произносят люди, которые, как всем известно, не сражались за республику. Им следовало бы говорить так, если бы они задались целью вызвать к ней всеобщую ненависть! Граждане, поменьше шума и побольше дела! Францию спасут не крики, а пушки. Половина погребов в нашей секции еще не обыскана. У многих граждан до сих пор находится значительное количество бронзы. Напоминаем богачам, что патристические пожертвования — лучшая для них гарантия. Поручаю вашей щедрости дочерей и жен наших солдат, покрывающих себя славой на границе и на Луаре. Один из них, гусар Помье (Огюстен), служивший раньше помощником кладовщика на Иерусалимской улице, десятого числа истекшего месяца был атакован неподалеку от лагеря Конде, в то время как вел коней на водопой, шестью австрийскими кавалеристами: он убил двух, а остальных захватил в плен. Прошу секцию объявить, что Помье (Огюстен) исполнил свой долг.

Речь вызвала аплодисменты, и собрание разошлось при криках: „Да здравствует республика!“

Оставшись в держки вдвоем с Трюбером, Гамлен пожал ему руку: — Благодарю тебя. Как ты поживаешь?

— Превосходно, превосходно! — ответил Трюбер, харкая кровью в носовой платок. — У республики много врагов, внешних и внутренних. В нашей секции их тоже немало. Не криками, а железом и законами создаются государства... До свиданья, Гамлен: мне надо отослать несколько писем.

И он ушел в бывшую ризницу, прижимая ко рту платок.

Гражданка Гамлен, отныне крепче прицеплявшая кокарду к чепцу, со дня на день приобретала все большую буржуазную степенность, республиканскую гордость и достойную осанку, приличествующую матери гражданина присяжного. Уважение к правосудию, в котором она была воспитана, восхищение, которое с детства ей внушали судейская мантия и сутана, священный трепет, всегда овладевавший ею при виде людей, которым сам бог уступил на земле свое право казнить и миловать, — все эти чувства вызывали теперь у нее почти религиозное преклонение перед сыном, которого она до последнего времени считала чуть ли не ребенком. По простоте душевной она верила в преемственность судебной власти, невзирая на революцию, столь же сильно, как законодатели Конвента верили в преемственность государственной власти, несмотря на смену политического строя, и Революционный трибунал в ее глазах был окружен тем же ореолом великолетия, что и прежние судебные установления, которые она привыкла глубоко чтить.

Гражданин Бротто выказывал вновь назначенному присяжному интерес, смешанный с удивлением и вынужденным уважением. Подобно гражданке Гамлен, он считал, что судебная власть остается непрерывной, вопреки смене политического строя; но в противоположность этой даме он презирал революционные трибуналы так же, как и суды старого режима. Не осмеливаясь открыто высказывать свою мысль и не чувствуя себя в силах молчать, он пускался в парадоксы, которые Гамлен понимал ровно настолько, чтобы заподозрить собеседника в неблагонадежности.

— Высокий Трибунал, в заседаниях которого вы скоро примете участие, — сказал он ему однажды, — учрежден французским сенатом для спасения республики, и, бесспорно, нашим законодателям пришла в голову благая мысль — дать судей своим врагам. Я сознаю

все великодушные такого образа действий, но не нахожу его дальновидным. По-моему, было бы благоразумнее, если бы они расправлялись с наиболее непримиримыми противниками негласно, а остальных привлекали на свою сторону путем подкупа или обещаний. Всякий суд разит медленно и не столько поражает преступника, сколько устрашает его: он прежде всего преследует показательную цель. Неудобство вашего суда заключается в том, что он примиряет друг с другом всех, кому он сумел внушить ужас, благодаря чему из хаоса противоположных интересов и страстей он сам создает могущественную партию, способную действовать сплоченно и решительно. Вы сеете страх, но страх в большей мере, чем мужество, порождает героев; желаю вам, гражданин Гамлен, чтобы в будущем подвиги страха не ударили бы по вам самим!

Гравер Демай, влюбленный на этой неделе в одну девушку из Пале-Эгалите, брюнетку огромного роста, Флору, все-таки улучил минуту, чтобы поздравить товарища и сказать ему, что его назначение на столь высокий пост почетно для искусства.

Даже Элоди, относившаяся с безотчетным отвращением ко всему, связанному с революцией, и видевшая в общественной деятельности самую опасную соперницу, которая может завладеть сердцем ее возлюбленного,— даже нежная Элоди признавала превосходство над собою человека, призванного быть судьей в важнейших делах. Кроме того, назначение Эвариста присяжным имело еще одно счастливое последствие, которому чувствительная девушка искренно обрадовалась: гражданин Жан Блез явился в мастерскую на Тионвильской площади и в порыве мужественной нежности крепко обнял нового присяжного.

Как все контрреволюционеры, он питал уважение к республиканским властям, а с тех пор как его обвинили в мошенничестве при поставках в армию, Революционный трибунал внушал ему почтительный страх. Он считал себя лицом слишком заметным и вел слишком много дел, чтобы наслаждаться полным спокойствием: гражданин Гамлен представлялся ему человеком, за которым стоило поухаживать. В конце концов он, Блез, был благонамеренный гражданин, сторонник законности.

Он протянул руку художнику-судье, выказал себя искренним патриотом, поклонником искусств и свободы. Гамлен великодушно пожал протянутую ему от всего сердца руку.

— Гражданин Эварист Гамлен,— сказал Жан Блез,— я обращаюсь к вашим дружеским чувствам и к вашим талантам. Я увожу вас завтра на двое суток в деревню: вы порисуете, и мы поболтаем на свободе.

Несколько раз в течение года торговец эстампами предпринимал загородную прогулку на два-три дня в обществе художников, зарисовывавших по его указаниям пейзажи и руины. Схватывая на лету все, что могло понравиться публике, он привозил из этих поездок наброски, которые потом заканчивались в мастерской, искусно гравировались и превращались в одноцветные или многоцветные эстампы, приносящие ему немалый доход. По этим же наброскам он заказывал карнизы для дверей и трюмо, которые имели успех у покупателей не меньший, а иногда и больший, чем декоративные произведения Гюбера Робера.

В этот раз он хотел забрать с собой гражданина Гамлена, чтобы тот зарисовал с натуры развалины: настолько звание присяжного подняло в его глазах Эвариста как живописца. Кроме Гамлена, в прогулке принимали участие еще гравер Демай, отличный рисовальщик, и никому не известный Филипп Дюбуа, превосходно работавший в жанре Робера. Как всегда, художников сопровождала гражданка Элоди со своей подругою, гражданкой Азар. Жан Блез, умевший сочетать приятное с полезным, пригласил также гражданку Тевенен, актрису „Водевила“, с которой, по слухам, он был в близких отношениях.

Х

В субботу, в семь часов утра, гражданин Блез, в черной с загнутыми кверху углами шляпе, в пунцовом жилете, лосиных штанах и желтых ботфортах с отворотами, постучал ручкой хлыста в дверь мастерской. Гражданка Гамлен мирно беседовала в это время с гражданином Бротто, между тем как Эварист завязывал перед осколком зеркала высокий белый галстук.

— Счастливого пути, господин Блез!— сказала гражданка.— Но,

раз вы отправляетесь зарисовывать пейзажи, возьмите с собой и господина Бротто: ведь он тоже художник.

— Отлично! — ответил Жан Блез. — Гражданин Бротто, едемте с нами.

Убедившись, что он никому не будет в тягость, Бротто — человек общительный и любитель всяких развлечений — охотно согласился.

Гражданка Элоди поднялась на четвертый этаж, чтобы поцеловать гражданку Гамлен, которую она называла своей маменькой. Она была одета во все белое и благоухала лавандой.

Старая дорожная берлина с опущенным верхом, запряженная парой лошадей, ожидала на площади. На задней скамейке сидела Роза Тевенен с Жюльеной Азар. Элоди предложила актрисе сесть с правой стороны, сама села с левой, а худощавую Жюльену поместили между ними обеими. Бротто устроился на передней скамейке, против гражданки Тевенен, Филипп Дюбуа — против гражданки Азар, Эварист — против Элоди. Что касается Филиппа Демай, его атлетический торс красовался на козлах, по левую руку от возницы, которого он поражал рассказами о том, что есть в Америке такая страна, где на деревьях растут колбасы.

Гражданин Блез, превосходный наездник, ехал верхом и, не желая глотать пыль, поднятую берлиной, скакал впереди всех.

По мере того как берлина катилась по мостовой предместья, путники забывали о своих заботах; при виде полей, деревьев, неба мысли их становились радостными и приятными. Элоди думала, что могла бы прожить всю жизнь вместе с Эваристом на лоне природы, на берегу реки, близ лесной опушки; она разводила бы кур, а он был бы мировым судьей где-нибудь в деревне. Придорожные вязы убегали от них. При въезде в селения наперерез экипажу с лаем устремлялись дворовые псы, кидаясь под ноги лошадям, меж тем как рослый спаньёл, разлегшийся поперек дороги, с сожалением подымался с места; куры разлетались во всех направлениях и, желая спастись, перебегали дорогу; гуси, сбившись в кучу, удалялись неспешно. Чумазые дети глазели на берлину. Утро выдалось жаркое, на небе — ни облака. Потрескавшаяся земля жаждала дождя. Они вышли из экипажа у Вильжюифа. Когда они проходили через местечко, Демай зашел к фруктошнице купить вишен, чтобы угостить гражданок, которым хотелось пить. Торговка оказалась смазливой: Демай пропал надолго. Филипп Дюбуа окликнул его:

— Эй! Барбару!.. Барбару!

Этим прозвищем его обычно звали приятели.

Услыхав ненавистное имя, прохожие насторожились; во всех окнах появились лица. Когда же санкюлоты увидели выходящего от фруктовошницы красивого молодого человека, в распахнутом жилете, с развевающимся на атлетической груди жабо, с корзиной вишен на плече и с фраком на кончике трости, то, приняв художника за объявленного вне закона жирондиста, они бесцеремонно схватили его и, не обращая внимания на его негодующие протесты, наверное отвели бы в ратушу, если бы старик Бротто, Гамлен и все три женщины не подтвердили согласно, что задержанного гражданина зовут Филипп Демай, что он гравер и добрый якобинец. И все-таки заподозренному пришлось предъявить удостоверение о благонадежности, которое оказалось при нем совершенно случайно, ибо в делах такого рода он отличался крайней беззаботностью. Только этой ценой удалось ему вырваться из рук деревенских патриотов, поплатившись пустяком — разорванной кружевной манжетой. Национальные гвардейцы, от которых ему досталось больше, чем от прочих, даже извинились перед ним: теперь они предлагали торжественно отвести его на руках в ратушу.

Свободный, окруженный гражданками Элоди, Розой, Жюльеной, Демай с горькой усмешкой посмотрел сверху вниз на Филиппа Дюбуа, которого он недолюбливал и подозревал в вероломстве.

— Дюбуа,— сказал он,— если ты еще раз назовешь меня Барбару, я буду звать тебя Бриссо; это толстый, смешной человек, с жирными волосами, лоснящейся кожей и липкими руками. Никто не усомнится, что ты именно гнусный Бриссо, враг народа, и республиканцы, охваченные при виде тебя ужасом и отвращением, повесят тебя на первом же фонаре... Понял?

Гражданин Блез, приведший свою лошадь с водопою, уверял, что это он уладил все дело, хотя всем казалось, что оно уладилось без него.

Сели опять в экипаж. Дорогою Демай сообщил вознице, что некогда на эту самую равнину Лонжюмо упало несколько обитателей луны, которые формой тела и цветом кожи походили на лягушек, но ростом были значительно выше. Филипп Дюбуа и Гамлен беседовали об искусстве. Дюбуа, ученик Реньо, побывал в Риме. Он видел там фрески Рафаэля и ставил их выше всех шедевров жи-

вописи. Его восхищали колорит Корреджо, изобретательность Аннибала Каррачи, рисунок Доменикино, но он не находил ничего, что могло бы сравниться по стилю с картинами Помпео Баттони. В Риме он посещал господина Менажо и госпожу Лебрен, но так как оба они относились враждебно к революции, то он и не упоминал о них. Зато он расхваливал Анжелику Кауфман за ее изящный вкус и знание античности.

Гамлен с сожалением говорил о том, что вслед за расцветом французской живописи — запоздалым, ибо он начался только с Лессюэра, Клода и Пуссена и соответствовал по времени упадку итальянской и фламандской школ, — последовало такое стремительное и глубокое падение. Он считал причиной этого общественные нравы и Академию, бывшую, так сказать, их зеркалом. Но Академию, к счастью, упразднили, и теперь Давид и его ученики, на основе новых принципов, создавали искусство, достойное свободного народа. Среди молодых художников Гамлен без малейшей зависти ставил на первое место Геннекена и Топино-Лебрена. Филипп Дюбуа предпочитал Давиду своего учителя Реньо, а в юном Жераре видел надежду современной живописи.

Элоди восхищалась красным бархатным током и белым платьем гражданки Тевенен. Актриса в свою очередь хвалила туалеты обеих своих спутниц и давала им советы, как одеваться еще лучше: для этого, по ее мнению, следовало отказаться от всяких отделок.

— Простота — вот к чему надо постоянно стремиться, — говорила она. — Мы учимся этому на сцене, где платье должно не скрывать, а подчеркивать каждое движение. В этом вся красота наряда, и другой красоты ему не нужно.

— Вы совершенно правы, душенька, — отвечала Элоди. — Но ничто не обходится так дорого, как простота. Не всегда мы только по отсутствию вкуса всячески украшаем свой туалет отделкой: иногда мы поступаем так из соображений экономии.

Они с оживлением заговорили об осенних модах: совершенно гладких платьях с короткой талией.

— Сколько женщин уродуют себя, подчиняясь моде! — заметила гражданка Тевенен. — Следует считаться прежде всего с собственной фигурой.

— Красивы только ткани, набрасываемые на фигуру целым



и драпирующиеся затем складками,—вмешался Гамлен.— Все, что скроено и шито,—ужасно.

Эти мысли, более уместные в книге Винкельмана, чем в устах человека, обращающегося к парижанкам, встретили равнодушно-пренебрежительный отпор.

— Зимой будут носить,—сказала Элоди,—ватные пальто под лапландские, из флоранса и из сицилиена, и казакины с отрезной талией, застегивающиеся, на турецкий манер, жилетом.

— Все это жалкие ухищрения людей, не имеющих возможности хорошо одеваться,—возразила актриса.— Это продается в лавках готового платья. У меня есть портниха, работающая на дому; у нее золотые руки, и берет она совсем недорого: я вам пришлю ее, моя милая.

И полились слова, легкие, торопливые, перебирались, обсуждались тонкие ткани, полосатый флоранс, гладкая тафта, газ, нанка.

А старик Бротто, прислушиваясь к их разговору, со сладостной меланхолией думал об этих легких, прихотливо сменяющих одна другую тканях, облекающих очаровательные, недолговечные формы, вечно возрождающиеся, как цветы в полях. И его взор, переходя с трех молодых женщин на васильки и полевые маки, росшие вдоль дороги, увлажнялся слезами светлой грусти.

Около девяти часов они приехали в Оранжи и остановились в харчевне „Колокол“, где супруги Пуатрин давали приют и пешим и конным. Гражданин Блез, уже успевший почиститься и помыться, помог гражданкам выйти из экипажа. Обед заказали к двенадцати часам, после чего все двинулись пешком, предшествуемые деревенским мальчуганом, который нес ящики с красками, папки, мольберты и зонтики, прямо полем, к месту слияния Оржа и Иветты, в тот очаровательный уголок, откуда открывается вид на зеленую равнину Лонжюмо, окаймленную Сеной и лесом святой Женевьевы.

Жан Блез, взявший на себя роль проводника, вступил с бывшим финансистом в шуточный разговор, в котором прихотливо мелькали имена Вербоке Великодушного, разносчицы Катерины Гиссо, девид Шодрон, кудесника Галише и более современные персонажи—Каде-Руссель и мадам Анго.

При виде жнецов, вязавших снопы, Эварист, охваченный внезапным влечением к природе, почувствовал, что на глаза ему на-

вертываются слезы; мечты о всеобщей любви и согласии переполнили его сердце. Демаи сдувал гражданам на волосы крылатые семена одуванчиков. Как большинству горожанок, им нравились букеты, и они принялись собирать медвежьи ушки, цветы которых расположены колосьями вокруг стебля, нежно-лиловые колокольчики, хрупкие веточки душистой вербены, бузину, мяту, желтяницу, тысячелистник, словом, всю полевую флору конца лета. И так как Жан-Жак ввел ботанику в моду среди городских девиц, все три знали название и любовное значение каждого цветка. Когда нежные, истомленные засухой, венчики осыпались в руках Элоди и дождем упали к ее ногам, она вздыхала:

— Ах, они уже увядают — цветы!

Все взялись за работу, стараясь изобразить природу так, как она им представлялась; но каждый воспринимал ее сквозь призму творчества того или иного мастера. Филипп Дюбуа живо набросал в жанре Гюбера Робера покинутую ферму, срубленные деревья, высохший ручей. Эварист Гамлен находил на берегах Иветты пейзажи Пуссена. Филипп Демаи, облюбовав голубятню, трактовал сюжет в шутливой манере Калло и Дюплесси. Старик Бротто, считавший, что подражает фламандцам, тщательно зарисовывал корову. Элоди набрасывала хижину, а ее подруга Жюльена, дочь торговца красками, подбирала для нее краски. Ребятишки, обступив ее, смотрели, как она писала. Когда они слишком заслоняли ей свет, она отстраняла их, называя мошкаррой и угощая леденцами. А гражданка Тевенен, выискивая среди детей хорошеньких, умывала их, целовала, втыкала им в волосы цветы. Она ласкала их с меланхолической нежностью потому, что ей не было дано испытать радости материнства, а еще для того, чтобы приукрасить себя выражением нежного чувства, равно как поупражняться в искусстве поз и группировок.

Одна она не рисовала, не писала красками. Занята она была разучиванием роли, а еще более тем, чтобы понравиться окружающим. С тетрадкой в руке, она переходила от одного к другому, воздушная, очаровательная. „Ни цвета лица, ни форм, ни фигуры, ни голоса“, — говорили про нее женщины, а между тем она наполняла пространство движением, красками, гармонией. Увядшая, мловидная, усталая, неутомимая — она была украшением и отрадой всего общества. Капризная, но всегда веселая, обидчивая, вспыльчивая, но вместе с тем сговорчивая и уживчивая, острая на

язык, но тем не менее изысканно вежливая, тщеславная, скромная, правдивая, фальшивая, обворожительная,— если, обладая всеми этими качествами, Роза Тевенен не умела устраивать свои дела и не стала богиней, это объяснялось лишь жестокими временами, когда в Париже уже не находилось ни алтарей, ни фимиамов для Граций. Даже гражданка Блез, говорившая о ней с гримаской и называвшая ее „мачехой“, и та не могла не поддаться ее обаянию.

В театре Фейдо репетировали „Визитандинок“, и Роза радовалась, что ей придется играть роль, в которой главное — естественность. Она стремилась к естественности, добивалась и находила ее.

— Значит, мы уже не увидим „Памелы?“ — спросил красавец Демай.

Национальный театр закрыли, а актеров и актрис посадили в смиренный дом и в тюрьму Пелажи.

— И это называется свободой! — с негодованием воскликнула Роза Тевенен, поднимая к небу свои прекрасные голубые глаза.

— Актеры Национального театра — аристократы, — заметил Гамлен, — а пьеса гражданина Франсуа стремится вызвать у зрителей сожаление о привилегиях, утраченных дворянством.

— Неужели, господа, вы согласны слушать только тех, кто вам льстит? — возмутилась Роза Тевенен.

К полудню все проголодались и решили вернуться в харчевню.

Эварист, идя рядом с Элоди, напоминал ей, улыбаясь, их первые встречи.

— Два птенчика упали из гнезда под крышей на ваш подоконник. Вы вскормили их; один выжил и улетел. Другой умер в гнездышке из ваты, которое вы ему устроили. „Этого я больше любила“, — сказали вы. В тот день, Элоди, у вас в волосах был красный бант.

Филипп Дюбуа и Бротто, немного отстав от всей компании, разговаривали о Риме, где они оба побывали — один в семьдесят втором году, другой — в последние дни существования Академии. И старик Бротто вспомнил княгиню Мондрагоне, которой он охотно бы объяснился в любви, не будь тут графа Альтери, вслуду следовавшего за ней, как тень. Филипп Дюбуа не упустил случая упомянуть, что его пригласил к себе на обед кардинал де-Берни, который оказался самым гостеприимным хозяином на свете.

— Я знавал его, — заметил Бротто, — и могу сказать без хва-

ствовства, что некоторое время был с ним очень близок: ему нравилось общаться со всяким сбродом. Это был очень любезный человек, и, хотя он любил рассказывать небылицы, в его мизинце было больше здравого смысла, чем в головах всех вапих якобинцев, которые стремятся во что бы то ни стало начинить нас добродетелью и религиозностью. Разумеется, я предпочитаю наших бесхитростных „богоедов“, не понимающих ни того, что говорят, ни того, что делают, этим одержимым манией законодательства невеждам, которые прилежно гильотинируют нам головы, стремясь таким способом превратить нас в добродетельных мудрецов и заставить поклоняться верховному существу, создавшему их по образу и подобию своему. В былые времена у меня в часовне дез-Илетт служил обедню бедняга священник, который говаривал после выпивки: „Не будем осуждать грешников; ведь мы, недостойные пастыри, только благодаря им и кормимся“. Согласитесь, сударь, что у этого присяжного молебщика были здравые понятия о власти. Этого следовало бы держаться и управлять людьми, такими, каковы они есть, а не такими, какими мы желали бы, чтобы они были.

К старику Бротто подошла Роза Тевенен. Она знала, что этот человек жил когда-то очень широко, и в ее воображении блестящее прошлое бывшего финансиста заслоняло его теперешнюю нищету, которая казалась ей менее унижительной, ибо была вызвана общим разорением и коснулась всех. С любопытством, не лишенным уважения, присматривалась она к нему, как к живому обломку того поколения щедрых Крезов, которых, вздыхая, прославляли пожилые актрисы. Кроме того, ей нравились манеры этого старика в поношенном, но столь опрятном коричневом сюртуке.

— Господин Бротто,— обратилась она к нему,— всем известно, что некогда в прекрасном парке, среди озаренной иллюминацией ночи, под звуки флейт и скрипок, доносившихся издалека, вы прогуливались в миртовых рощах с актрисами и танцовщицами... Увы, не правда ли, ваши богини из Оперы и Французской комедии были прекраснее нас, скромных народных актрис?

— Вы ошибаетесь, сударыня,— ответил Бротто.— Знайте, если бы в то время встретилась мне особа, подобная вам, она одна, пожелай только она этого, прогуливалась бы без всяких соперниц полновластной госпожою в парке, о котором вам было угодно составить себе столь лестное представление...

Харчевня „Колокол“ имела вполне деревенский вид. Над воротами, которые вели во двор, где в никогда не высохавшей грязи копались куры, висела ветка остролиста. В конце двора стоял двухэтажный домик, увенчанный черепичной крышей, поросшей мхом, и весь утопавший в огромных кустах цветущих роз. Направо из-за низкой садовой ограды торчали остроконечные верхушки малорослых деревьев. Налево находилась конюшня, с приделанной снаружи решеткой для сена, и ригã с дощатыми переборками. К стене была прислонена деревянная лесенка. Там же, под навесом, где были свалены сельскохозяйственные орудия и выкорчеванные пни, с высоты старой одноколки белый петух наблюдал за курами. Двор с этой стороны замыкался хлевом, перед которым гордым могильным курганом возвышалась куча навоза; молодая крестьянка с волосами цвета соломы, невероятно раздавленная в ширину, перебрасывала его вилами. Ее деревянные башмаки, надетые на босу ногу, были полны навозной жижей, и время от времени из них вылезали пятки, желтые, как шафран. Из-под подогнутой юбки виднелись грязные икры, массивные и низкие. Филипп Демаи, удивленный и заинтересованный странной игрою природы, предоставившей этой девушке расти не вверх, а вширь, загляделся на нее. В эту минуту хозяин крикнул:

— Эй, Колода! Сходи-ка за водой!

Она обернулась. У нее было пунцовое лицо и широкий рот, в котором недоставало одного резца. Нужен был, по меньшей мере, бычий рог, чтобы проделать брешь в этих могучих зубах. Держа вилы на плече, она улыбалась. Ее обнаженные выше локтя руки, похожие на ляжки, блестели на солнце.

Стол был накрыт в низкой комнате, где под кожухом очага, украшенного старинными ружьями, дожаривались куры. Выбеленная комната имела в длину футов двадцать с лишним; свет проникал только через зеленоватые стекла двери да через единственное, окаймленное розами, окошко, у которого за прялкой сидела старуха-бабка. На ней был чепец и кружевной убор времен Регентства. Узловатые землистого цвета пальцы держали кудель. Мухи садились ей на края век, и она не сгоняла их. Ребенком, на руках у матери, она видела Людовика XIV, проезжавшего в карете.

Шестьдесят лет назад она побывала в Париже. Слабым, певучим голосом рассказывала она трем молодым женщинам, стоявшим перед

нею, что она видела ратушу, Тюильри, фонтан „Самаритянку“ и что, когда она проходила по Королевскому мосту, внизу, на барке, груженной яблоками и направлявшейся на Майльский рынок, открылась брешь, яблоки упали в воду и вся река окрасилась в пурпурный цвет.

Она была осведомлена о переменах, происшедших в королевстве, и о распри между священниками, принесшими присягу и отказавшимися присягать. Слышала она также про войну, про голод, про знамения на небе. Ей никак не верилось, что короля казнили. Ему помогли бежать подземным ходом, утверждала она, а вместо него палачу выдали какого-то простолюдина.

У ног старухи, в плетеной корзинке, лежал грудной младенец Жанно, самый младший член семьи Пуатрин: у него прорезывались зубы. Роза Тевенен подняла ивовую колыбель и улыбнулась ребенку; он слабо застонал, истощенный жаром и судорогами. Должно быть, он был очень болен, так как к нему вызвали врача; правда, гражданин Пельпор, кандидат в депутаты Конвента, не брал платы за посещения.

Гражданка Тевенен, на все руки мастерица, везде чувствовала себя как дома. Недовольная тем, как Колода вымыла посуду, она принялась перетирать тарелки, стаканы и вилки. Покуда гражданка Пуатрин варила суп, то и дело, как хорошая хозяйка, пробуя его, Элоди разрезала на ломти еще горячий, только что вынутый из печи четырехфунтовый хлеб. Гамлен, увидав ее за этим занятием, сказала ей:

— На-днях я прочитал в отличном французском переводе книгу, написанную молодым немцем, имя которого я забыл. Там изображена прелестная девушка, по имени Шарлотта, которая, так же как и вы, Элоди, разрезает на ломти хлеб и, подобно вам, делает это так грациозно и мило, что, застав ее за этим занятием, в нее влюбляется юный Вертер.

— И это кончается женитьбой?— спросила Элоди.

— Нет,— ответил Эварист,— это кончается самоубийством Вертера.

Все проголодались и ели с аппетитом. Но обед был очень скромным. Жан Блез остался недоволен: любитель изысканных блюд, он сделал хороший стол одним из правил жизни. И несомненно, не что иное, как общий голод, побудил его возвести чревоугодие в систему. Ветром революции в каждом доме загасило плиту. У боль-

шинства граждан не было ни крошки хлеба. Ловкие люди, вроде Жана Блеза, нагревавшие руки на народном бедствии, шли к ресторатору, где и проявляли свою сущность, обжираясь доотвала. Что же касается Бротто, который на II году Свободы питался каштанами да сухарями, он утешался воспоминаниями об ужинах у Гримо-де-ла-Рейньера, при въезде в Елисейские поля. Желая блеснуть своими гастрономическими познаниями, он, сидя перед тушеной в сале капустой, изготовленной супругой Пуатрин, сыпал замысловатыми кулинарными рецептами и тонкими замечаниями по поводу разных кушаний. Когда же Гамлен заявил, что республиканец относится с презрением к чревоугодию, старый откупщик, знаток древности, сообщил молодому спартанцу точную формулу приготовления черной похлебки.

После обеда Жан Блез, никогда не забывавший о деле, заставил свою бродячую академию заняться набросками с харчевни, которая в своем запустении казалась ему довольно романтичной. Когда Филипп Демай и Филипп Дюбуа зарисовывали хлев, явилась Колода задать корму свиньям. Гражданин Пельпор, врач, выйдя из дому, где он только что осмотрел наследника Пуатринов, подошел к художникам и, наговорив любезностей по поводу их талантов, которыми, по его словам, могла гордиться вся нация, обратил их внимание на Колоду, возившуюся со свиньями.

— Взгляните на это создание,— сказал он.— Это не одна девушка, как можно было предположить, а целых две. Поймите, я говорю буквально. Пораженный невероятными размерами ее костяка, я исследовал ее и убедился, что большинство костей у нее в двойном количестве: в каждой ляжке—две сросшиеся вместе берцовые кости; в каждом плече—две плечевые. Мускулы тоже у нее в двойном количестве. По-моему, это два близнеца, теснейшим образом спаянные друг с другом, или, вернее, слитые воедино. Случай интересный. Я сообщил о нем господину Сент-Илеру, и он был мне очень признателен. Перед вами, граждане, урод. Хозяева зовут ее Колодой. По-настоящему следовало бы называть ее Колодами: их две, а не одна. Да, в природе бывают всякие странности... Добрый вечер, граждане художники! К ночи надо ждать грозы...

Пожинав при свечах, академия Блеза затеяла во дворе харчевни, вместе с сыном и дочерью Пуатринов, игру в жмурки, в ко-

торой молодежь проявила живость, в достаточной мере объяснимую ее возрастом, чтобы не искать причины этого веселья в жестоких временах и общей неуверенности в завтрашнем дне. Когда совершенно стемнело, Жан Блез подал мысль поиграть в фанты в обеденной зале. Элоди предложила „охоту за сердцем“, и все согласились с нею. По указанию молодой девушки, Филипп Демай начертил мелом на мебели, на дверях и на стенах семь сердец, то есть одним меньше числа играющих, причем и старик Бротто любезно согласился принять участие в игре. Завели хоровод, распевая „Ла-Тур, берегись“, и по знаку Элоди поспешили схватиться рукой за выведенное мелом сердце. Гамлен, рассеянный и неловкий, опоздал: все сердца уже были заняты. Он дал фант: перочинный ножик, купленный за шесть су на ярмарке в Сен-Жермене, тот самый, которым он отрезал кусок хлеба для гражданки Дюмонтель. Игру начали снова, и друг за другом Блез, Элоди, Бротто, Роза Тевенен, не находя свободного сердца, давали фанты: кольцо, ридикюль, книжку в сафьяновом переплете, браслет. Затем стали тянуть наудачу фанты, которые Элоди держала у себя на коленях, и каждый участник игры, чтобы выкупить свой фант, должен был проявить какой-либо талант: спеть песенку или прочесть стихи. Бротто продекламировал речь патрона Франции из первой песни „Орлеанской девственницы“:

Ведь я Денис, а ремеслом — святой,
Я Галлии любимый просветитель

Гражданин Блез, хотя и менее образованный, привел без запинки ответ Ричмонда:

Мне кажется, вы вздумали напрасно
Покинуть ваш приют весьма прекрасный...

Все в ту пору читали и перечитывали шедевр французского Ариоста: самые степенные люди смеялись над любовными похождениями Жанны и Дюнуа, над приключениями Агнесы и Монроза и над подвигами крылатого осла. Все образованные люди знали наизусть лучшие места этой веселой философской поэмы. Эварист Гамлен, при всей своей строгости, охотно продекламировал, взяв с колен Элоди свой перочинный ножик, сцену сошествия Грибурдона в ад. Гражданка Тевенен исполнила без аккомпанемента ро-

манс Пины: „Когда любимый мой вернется“. Демай спел на мотив „Фаридондены“:

Свинью одели впопыхах
(Не вапу ли, святой Антоний?)
В плащ капуцина, и монах,
Укрывши рыло в капюшопе,
О смертных хрюкает грехах...

Однако Демай был озабочен. В эту минуту он пылко был влюблен во всех трех женщин, с которыми играл в фанты, и на каждую из них кидал пламенные и нежные взоры. Роза Тевенен нравилась ему своей грацией, гибкостью, своим искусством, голосом, проникавшим ему в сердце, и многозначительными взглядами; Элоди ему нравилась потому, что он угадывал в ней богатую, щедрую, увлекающуюся натуру. Ему нравилась Жюльена Азар, несмотря на ее белесые ресницы, бесцветные волосы, веснушки и тощую грудь, потому что, подобно Дюнуа, которого выводит Вольтер в „Орлеанской девственнице“, он всегда был готов великодушно предъявить наименее красивой женщине доказательства своей любви, тем более, что сейчас она казалась ему никем не занятой и, следовательно, более доступной, чем остальные. Свободный от всякого тщеславия, он никогда не был уверен, что его домогательства встретят благосклонный прием, но у него не было уверенности и в противном. Поэтому он предлагал себя на всякий случай. Воспользовавшись удобным моментом при розыгрыше фантов, он шепнул несколько нежных слов Розе Тевенен, которая не рассердилась, но не могла ничего ответить, так как с нее не спускал ревнивого взора гражданин Блез. Он еще более пылко объяснился Элоди; хотя ему было известно, что она любит Гамлена, но он не был настолько требователен, чтобы стремиться к обладанию сердцем, которое принадлежало бы ему одному. Элоди не могла любить его, но находила его красивым и не умела это скрыть. Но самым настойчивым образом он изложил свои желания на ухо гражданке Азар; она ответила на это взором, полным изумления, который мог выражать и глубочайшую покорность и мрачное безразличие. Но Демай не верилось, что она равнодушна.

В харчевне было всего две спальни, обе во втором этаже и на одной площадке. Та, что находилась налево, более красивая, была оклеена обоями в цветах; на одной из стен висело зеркальце, величиной с ладонь, в позолоченной раме, засиженной мухами еще

со времен малолетства Людовика XV. Там, под ситцевым в разводах пологом, две кровати, покрытые стегаными одеялами, вздувались горой подушек и перин. Эту комнату отвели трем гражданам.

Когда настало время ложиться спать, Демаи и гражданка Азар, каждый с подсвечником в руке, пожелали друг другу на площадке спокойной ночи. Влюбленный гравер сунул дочери торговца красками записочку, в которой умолял, когда все заснут, придти к нему на чердак, находившийся над спальнею гражданок.

Предусмотрительный и благоразумный, он еще днем изучил внутреннее расположение дома и исследовал этот чердак, заваленный сундуками, старыми чемоданами, связками лука, фруктами, которые сушились, осаждаемые роем ос. Он даже заметил там хромоногую складную кровать, которой, как ему казалось, никто не пользовался, и распоротый тюфяк, где на приволье прыгали блохи.

Напротив спальни гражданок была небольшая комнатка с тремя кроватями, предназначенными для граждан путешественников. Но сибарит Бротто ушел спать на сеновал. Жан Блез куда-то скрылся, Дюбуа же и Гамлен заснули сразу. Демаи лег в постель, но когда ночное безмолвие, как стоячая вода, затопило весь дом, гравер выбрался из комнаты и босиком стал подниматься по деревянной лестнице, скрипевшей у него под ногами. Дверь чердака была полуоткрыта. Оттуда несло спертым горячим воздухом и острым запахом гнилых плодов. На хромоногой кровати в задраннойверху сорочке, раскорячив ноги, спала с разинутым ртом Колода. Она была огромна. Лунный луч, проникая через чердачное окно, заливал голубоватым серебром ее кожу, блиставшую молодой свежестью в тех местах, где она не была покрыта чешуей гризи и брызгами навозной жижи. Демаи навалился на спящую. Сразу проснувшись, она сначала испугалась и закричала; но затем, сообразив, чего от нее хотят, успокоилась и не выказала ни изумления, ни досады: притворяясь погруженной в полудремоту, она как бы не сознавала происходящего, но в то же время имела возможность испытывать некоторое наслаждение.

Демаи вернулся к себе в комнату и проспал до утра спокойным и глубоким сном.

На другой день, проработав до вечера, странствующая академия собралась обратно в Париж. Когда Жан Блез расплатился с хозяином ассигнациями, гражданин Пуатрин стал жаловаться, что

уже давно не видал других денег, кроме „четырехугольных“, и обещал поставить толстую свечку тому молодцу, который опять пустит в ход золотые кругляши.

Гражданкам он предложил цветы. По его приказанию, Колода, в деревянных башмаках, подоткнув подол, заголив грязные, сверкающие икры, вскарабкалась на лесенку и неутомимо срезала цветы с ползучих кустов роз, покрывавших стену. Из ее широких рук цветы дождем, потоком, лавиной падали в подставленные юбки, к Элоди, Жюльене и Розе Тевенен. Берлина утопала в розах. Вернувшись к ночи домой, все захватили по охапке, и сон и пробуждение их были овеяны благоуханием.

XI

Vтром седьмого сентября гражданка Рошмор отправилась к присяжному Гамлену, у которого хотела просить заступничества за своего знакомого, взятого под подозрение, и на площадке лестницы повстречалась с бывшим дворянином Бротто-дез-Илетт, которого она любила в былые, счастливые дни. Бротто собрался отнести к торговцу игрушками на улице Закона двенадцать дюжин картонных плюсунов своей работы; чтобы легче справиться с ношей, он нанизал их, по обычаю разносчиков, на жердь. Он был изысканно любезен со всеми женщинами, даже с теми, которые в силу долгой привычки утратили для него всякую привлекательность; так было бы, видимо, и с госпожой де-Рошмор, хотя, может быть, измена, разлука, неверность, приятная полнота сделали ее в его глазах несколько привлекательнее. Во всяком случае, встретившись с ней на грязной площадке с разошедшимися изразцами, он отвесил ей тот же церемонный поклон, как некогда на ступенях крыльца в дез-Илетт, и попросил оказать ему честь, посетив его мансарду. Поднявшись довольно легко по приставной лесенке, гражданка Рошмор очутилась на чердаке; черепичная крыша, в которой было проделано слуховое окно, поддерживалась толстыми наклонными балками. Выпрямиться во весь рост было невозможно. Она села на единственный стул, имевшийся в убогом жилище, и,

скользнув удивленно-грустным взором по разъехавшимся черепицам, спросила:

— Так вот где вы живете, Морис? Вам здесь нечего опасаться непрошенных гостей. Надо быть дьяволом или котом, чтобы навестить вас.

— Да, у меня здесь тесновато,— ответил бывший дворянин.— И не скрою от вас, что, когда идет дождь, вода попадает на мое ложе. Это небольшое неудобство. Зато в ясные ночи я вижу луну, прообраз и свидетельницу человеческой любви. Ведь луна, сударыня, во все времена признавалась покровительницей влюбленных, и в полнолуние своим бледным и круглым ликом она напоминает любовнику предмет его вожделений.

— Вы правы,— согласилась гражданка.

— В излюбленную ими пору года,— продолжал Бротто,— коты устраивают у меня над головой чудовищные концерты. Но разве можно укорять любовь за то, что она мяукает и приносит клятвы верности на крышах, если она насыщает страданиями и преступлениями жизнь людей!

Оба они были настолько умны, что встретились, как два друга, которые расстались лишь накануне, и, хотя между ними уже не было никакой близости, они мило и по-приятельски беседовали.

Однако госпожа де-Рошмор казалась озабоченной. Революция, которая долго была для нее источником развлечений и всяких благ, теперь приносила ей лишь заботы и тревоги; ее ужины утрачивали свой блеск и веселье. Омраченные лица уже не прояснялись при звуках ее арфы. За ломберными столами она не досчитывалась самых богатых игроков. Многие из ее постоянных посетителей были объявлены неблагонадежными и где-то скрывались; ее друг, банкир Морхардт, был арестован: о нем-то она и пришла похлопотать перед Гамленом. Она сама находилась под подозрением. Национальные гвардейцы произвели у нее обыск, перерыли все ящики в комодах, приподнимали половицы, истыкали штыками матрацы. Они ничего не нашли, извинились перед ней и удалились, отведав вина из ее погреба. Но они едва не наткнулись на переписку с эмигрантом, г-ном д'Экспильи. Кое-кто из ее приятелей-якобинцев предупредил ее, что красавец Анри, которого она содержала, возбуждает подозрение своими выступлениями, слишком резкими, чтобы можно было поверить в их искренность.

Облокотившись на колени и подпирая руками подбородок, она задумчиво спросила своего старого друга, сидевшего на соломенном тюфяке:

— Что вы думаете обо всем этом, Морис?

— Думаю, что эти люди дают философу и любителю зрелищ обильный материал для размышлений и развлечений, но что для вас, дорогая, было бы лучше, если бы вы находились за пределами Франции.

— Морис, куда это нас приведет?

— Тот же вопрос вы мне задали, Луиза, как-то в коляске, по дороге в дез-Илетт, ведущей вдоль берега Шера, когда наша лошадь, закусив удила, повеслась бешеным галопом. Ну и любопытны же женщины! И сегодня вам хочется знать, к чему мы идем. Спросите у гадалок. Я, моя милая, не предсказатель, а философия, даже самая здравая,—слабая помощница, чтобы предвидеть будущее. Это кончится, потому что все имеет конец. Мне представляется несколько исходов. Победа коалиции и вступление союзников в Париж. Они уже недалеко, но все-таки я сомневаюсь, чтобы они пришли сюда. Республиканские солдаты сражаются с пылом, который ничто не в силах угасить. Возможно, что Робеспьер женится на дочери короля и провозгласит себя протектором королевства до совершеннолетия Людовика XVII.

— Вы думаете?—воскликнула гражданка, сгорая от нетерпения вмешаться в эту замечательную интригу.

— Возможно также,—продолжал Бротто,— что одержит верх Вандея и что над горами развалин и горою трупов снова утвердит свою власть духовенство. Вы, дорогая, не отдаете себе отчета, сколько человеческих туш насчитывают в своем стаде эти пастыри... Я хотел сказать „душ“, но обмолвился. Вероятнее же всего, на мой взгляд, что Революционный трибунал вызовет падение режима, которому он обязан своим существованием: слишком большому количеству голов угрожает это судилище. Числа нет людям, которые трепещут пред ним: все они соединятся, и, чтобы уничтожить его, они уничтожат весь политический строй... Если не ошибаюсь, вы способствовали назначению присяжным молодого Гамлена. Он добродетелен: он будет страшен. Чем больше я думаю над этим, мой милый друг, тем больше я прихожу к мысли, что Трибунал, призванный спасти республику, погубит ее. Конвент захотел, подобно королев-

ской власти, установить свои праздники, учредить свой чрезвычайный суд и поручить заботу о государственной безопасности судьям, назначаемым им и зависимым от него. Но насколько праздники Конвента уступают праздникам монархии и насколько его чрезвычайный суд менее дальновиден, чем суд Людовика XIV! В Революционном трибунале господствует дух примитивной справедливости и пошлого равенства, который вскоре вызовет к нему ненависть и отвращение всех решительно. Знаете ли вы, Луиза, что этот Трибунал, собирающийся посадить на скамью подсудимых французскую королеву и двадцать одного законодателя, вчера приговорил к смертной казни служанку, вина которой заключается в том, что она, с целью погубить республику, злонамеренно крикнула: „Да здравствует король!“? Наши судьи в черных плюмажах действуют в духе Вильяма Шекспира, столь любезного сердцу англичан, который вводит в наиболее трагические сцены самое грубое шутовство.

— Ну, как же, Морис,—спросила гражданка,—вы попрежнему счастливы в любви?

— Увы,—вздыхнул Бротто,—голуби порхают вокруг новенькой голубятни и не садятся на развалины башни.

— Вы несколько не изменились... До свиданья, друг мой!

В тот же вечер драгун Анри, явившись без приглашения к госпоже де-Рошмор, застал ее, когда она запечатывала конверт, на котором он прочитал адрес гражданина Ролина в Верноне. Это письмо, он знал, должно было уйти в Англию... Ролин, получая с дилижансом корреспонденцию госпожи де-Рошмор, пересылал ее через торговку рыбой в Дьепп. Там один судохозяин ночью переправлял письма на британский корабль, крейсировавший вдоль берегов; в Лондоне их получал эмигрант, господин д'Экспильи, и в тех случаях, когда находил это целесообразным, передавал их Сен-Джемскому кабинету.

Анри был молод и красив: Ахилл, облаченный в доспехи, подаренные Улиссом, не мог бы поспорить изяществом и силой с юным драгуном. Однако гражданка Рошмор, недавно еще равнодушная к чарам юного героя Коммуны, отвратила от него и взоры и мысли с тех пор, как ее предупредили, что юный воин, заподозренный якобинцами в неискренности, мог скомпрометировать и погубить ее. Анри сознавал, что разрыв с госпожой де-Рошмор, пожалуй, не будет для него слишком большим горем, но ему было неприятно, что

она уже не отличала его. Он рассчитывал на нее, чтобы возместить некоторые издержки, понесенные им на службе республики. Кроме того, думая о крайностях, на которые способны женщины, и о том, как быстро они переходят от самой пылкой нежности к самому холодному безразличию, как им легко отказаться от того, чем они дорожили, и погубить то, чему поклонялись, он был недалек от мысли, что в один прекрасный день обворожительная Луиза может посадить его в тюрьму, дабы развязаться с ним. Благоразумие подсказывало ему вернуть сердце охладевшей к нему красавицы. Потому-то он и явился к ней во всеоружии своих чар. Он то приближался к ней, то удалялся, вновь подходил, слегка касался ее и внезапно отстранялся, следуя балетным правилам обольщения. Наконец он сел в кресло и своим неотразимым голосом, перед которым не могла устоять ни одна женщина, стал превозносить красоты природы, прелесть уединения и, вздыхая, предложил ей совершить прогулку в Эрменонвиль.

Она водила рукой по струнам арфы и кидала вокруг себя не терпеливые и скучающие взоры. Вдруг Анри, поднявшись с мрачным и решительным видом, заявил, что уезжает в армию и через несколько дней будет уже под Мобежем.

Не выказав ни сомнений, ни удивления, она одобрительно кивнула головой.

— Вы находите разумным мое намерение?

— Вполне разумным.

Она ждала прихода нового друга, который ей нравился бесконечно и близость с которым сулила ей множество выгод. Он был полной противоположностью Анри: воскресший Мирабо, Дантон, обтесавшийся и сделавшийся поставщиком, лев, поговаривавший о том, что всех патриотов пора бросить в Сену. Каждую минуту ей чудился его звонок, и она испуганно вздрагивала.

Желая поскорее избавиться от Анри, она умолкла, зевнула, перелистала ноты и зевнула еще раз. Видя, что он не собирается уходить, она сказала ему, что ей нужно выйти из дому, и прошла к себе в уборную.

Он крикнул ей взволнованным голосом:

— Прощайте, Луиза!.. Увижу ли я вас когда-нибудь еще?

А руки его, между тем, шарили в ящике письменного стола.

Очутившись на улице, он распечатал письмо, адресованное гра-

жданину Ролину, и с интересом прочел его. Письмо, действительно, было лобовитным отражением настроений во Франции. В нем сообщалось о королеве, о Розе Тевенен, о Революционном трибунале, цитировались совсем не предназначенные для огласки суждения милейшего Бротто-дез-Илетт.

Окончив чтение, Анри положил письмо в карман и на минуту задумался; затем, как человек, принявший твердое решение и убежденный, что чем скорее все произойдет, тем лучше, направился к Тюильрийскому дворцу и вошел в приемную Комитета общественной безопасности.

В тот же день, в три часа пополудни, Эварист Гамлен впервые уселся на скамью присяжных вместе с четырнадцатью другими заседателями, с большинством которых он был знаком; все это были простые, честные люди и патриоты: ученые, художники или ремесленники — один живописец, как и он, один рисовальщик, оба чрезвычайно талантливые, хирург, башмачник, бывший маркиз, неопровержимо доказавший свою преданность революции, типограф, несколько мелких торговцев — словом, представители всех слоев парижского населения. Они явились сюда в рабочем платье или в костюме буржуа, остриженные по-римски в кружок или с короткой косицей, перехваченной бантом, в треуголке, надвинутой на глаза, в круглой шляпе, съехавшей на затылок, или в красном колпаке, натянутом на уши. Одни были в жилете, фраке и коротких панталонах, как при старом режиме, другие — в карманьоле и полосатых штанах на манер санкюотов. Обутые в высокие сапоги, в туфли с пряжками или в деревянные башмаки, они являли своим видом все разнообразие мужской одежды, бывшей тогда в ходу. Так как каждый из них заседал уже не в первый раз, то все они чувствовали себя на скамье присяжных непринужденно, и Гамлен завидовал их спокойствию. Сердце у него учащенно билось, в ушах звенело, глаза заволакивал туман, и все окружающее принимало тусклый оттенок.

Когда судебный пристав объявил: „Суд идет!“, трое судей, поднявшись на небольшое возвышение, уселись за зеленым столом. На них были треуголки с кокардами, украшенные пышным черным плюмажем, и судейские мантии; на груди, на трехцветной ленте, висела большая серебряная медаль. Впереди них, у подножия эстрады, в таком же костюме сидел товарищ общественного обви-



нителя. Секретарь занял место между судейским столом и пустым креслом обвиняемого. Гамлен видел этих людей, непохожих на то, какими он знал их до сих пор; они казались более красивыми, более величественными, более грозными, хотя держались очень просто: перелистывали бумаги, подзывали судебного пристава, перегнувшись назад выслушивали сообщение какого-нибудь присяжного или дежурного офицера.

Над местами для судей висели таблицы с Декларацией Прав Человека; по обеим сторонам от них, у старинных, феодальных стен,— бюсты Ле-Пельтье, де-Сен-Фаржо и Марата. Напротив судейского стола, в глубине зала, находилась трибуна для публики. Первый ряд занимали женщины: блондинки, брюнетки, седые — все в высоких чепцах, плиссированные кружева которых затеняли им щеки; на груди, которой мода придавала однообразную полноту груди кормилицы, лежала крест-накрест белая косынка или топорщился нагрудник синего передника. Все сидели, скрестив руки на перилах трибуны. Позади них ступеньки лестницы были усеяны гражданами, одетыми с тем разнообразием, которое придавало тогда парижской толпе странный и живописный вид. Направо, у входа, за сплошным барьером, были стоячие места для публики. На этот раз там было мало народу. Дело, подлежащее рассмотрению этой секции, привлекало немногих зрителей: несомненно, в других секциях Трибунала, заседавших одновременно, разбирались более интересные дела.

Это обстоятельство несколько успокаивало Гамлена: он был слишком взволнован, чтобы вынести лихорадочную атмосферу крупных процессов. Он подмечал мельчайшие подробности: вату в ухе секретаря, чернильное пятно на папке обвинителя. Словно сквозь увеличительное стекло, видел он капители, изваянные в эпоху, когда было утрачено всякое понимание классических стилей, и венчавшие гирляндами крапивы и остролиста готические колонны. Но взгляд его ежеминутно обращался к старинному креслу, обитому альым утрехтским бархатом, потертым на сиденье и потемневшем на ручках. У всех входов стояли вооруженные национальные гвардейцы.

Наконец, под конвоем гренадеров, появился обвиняемый. Как полагалось по закону, он не был закован в кандалы. Это был мужчина лет пятидесяти, худощавый, сухой, смуглый, почти совсем лысый, со впалыми щеками, с тонкими фиолетовыми губами, одетый

по старинной моде во фрак цвета бычьей крови. У него, вероятно, была лихорадка, ибо глаза блестели, как драгоценные камни, а щеки, казалось, были покрыты лаком. Он сел, скрестив непомерно худые ноги, и обхватил колени большими руками с узловатыми пальцами. Звали его Мари-Адольф Гийерг, и обвинялся он в хищениях по интендантским поставкам республике. Обвинительным актом ему инкриминировалось множество серьезных злоупотреблений, но ни одно из них не было доказано безусловно. На вопрос, признает ли он себя виновным, Гийерг отверг большинство приписываемых ему деяний, остальные же объяснил в благоприятном для себя смысле. Он выражался чрезвычайно точно и сдержанно, удивительно искусно, и производил впечатление человека, с которым лучше не иметь деловых сношений. Когда судья задавал ему затруднительный вопрос, его лицо было все так же спокойно, а речь уверенна, но руки, сложенные на груди, судорожно сжимались. Гамлен заметил это и шепнул на ухо своему соседу, художнику:

— Посмотрите на его большие пальцы!

Первый свидетель, которого выслушали, дал крайне невыгодные для подсудимого показания. На них-то и было построено все обвинение. Следующие свидетельства, напротив, были благоприятны для Гийерга. Обвинитель выступил с горячей речью, но не сумел доказать ничего определенного. Адвокат говорил с подкупающей искренностью и этим завоевал своему подзащитному симпатии, которые тот сам не смог вызвать у суда. Объявили перерыв, и присяжные удалились в совещательную комнату. Там, после довольно путанных и ничего не выяснивших прений, голоса разделились приблизительно поровну. На одной стороне оказались безучастные, холодные резонеры, остававшиеся бесстрастными при любых обстоятельствах; на другой — те, которые давали волю чувству, мало считались с доводами рассудка и судили, слушаясь сердца. Они всегда выносили обвинительный приговор. Это были подлинные патриоты: они думали только о республике и не заботились об остальном. Их позиция произвела сильное впечатление на Гамлена, который признавал себя солидарным с ними.

„Этот Гийерг, — размышлял он, — ловкий мошенник, негодяй, спекулировавший на фураже нашей кавалерии. Оправдать его — значит отпустить на свободу изменника, предать отечество, обречь армию на разгром“. И Гамлену уже мерещились республиканские гусары

на спотыкающихся лошадях, изрубленные неприятельской конницей... „А что, если Гийерг невиновен?“

Он вспомнил вдруг о Жане Блезе, которого тоже подозревали в злоупотреблениях при поставках. И сколько их еще, таких Гийергов и Блезов, играющих наруку врагам республики, подготовляющих ее гибель. Необходим устрашающий пример. Но если Гийерг невиновен?..

— У нас нет улики,— произнес вслух Гамлен.

— Бесспорных доказательств никогда не бывает,— возразил, пожимая плечами, старшина присяжных, испытанный патриот.

В конце концов семь голосов высказалось за осуждение и восемь — за оправдание.

Присяжные вернулись в зал, и заседание возобновилось... Каждый должен был мотивировать приговор, и все по очереди говорили перед пустым креслом подсудимого. Одни были многоречивы; другие ограничивались двумя-тремя словами; некоторые говорили совсем невразумительно.

Когда дошла очередь до Гамлена, он встал и произнес:

— Чтобы обвинить кого-либо в столь тяжком преступлении, как лишение защитников отечества средств к победе, нужны улики, а их у нас нет.

Большинством голосов подсудимый был признан невиновным.

Гийерга опять ввели в зал суда; его появление вызвало среди публики благожелательный шопот, возвещавший ему оправдательный приговор. Теперь это был совсем другой человек. Сухие черты расправились, рот смягчился. Он сразу стал представительнее, его лицо выражало невинность. Председатель взволнованным голосом прочитал постановление суда, объявлявшее его свободным; зал разразился рукоплесканиями. Жандарм, который привел Гийерга, кинулся ему в объятия. Председатель поздравил его и братски облобызал. Присяжные расцеловали его. Гамлен обливался слезами радости.

Во дворе Суда, освещенном последними лучами солнца, гудела толпа. Четыре секции Трибунала вынесли накануне тридцать смертных приговоров, и „вязальщицы“, примостившись на ступенях парадной лестницы, ожидали отъезда телег. Но Гамлен, спускаясь вниз вместе с присяжными и публикой, не видел, не слышал ничего: он думал лишь об акте справедливости и человеколюбия, который он только что совершил, и радовался, что ему удалось распознать не-

винного. Во дворе Элоди, бледная, улыбаясь сквозь слезы, кинулась к нему в объятия и замерла в них. Придя немного в себя, она заговорила:

— Эварист, вы прекрасны, вы добры, вы великодушны! Здесь, в зале, звук вашего голоса, мужественный и мягкий, пронизывал меня всю магнетическими волнами. Я была наэлектризована им. Я все время смотрела на вас там, на скамье. Я видела только вас. А вы, друг мой, и не догадывались о моем присутствии? Ничто не подсказало вам, что я здесь? Я сидела на трибуне, во втором ряду направо. Боже, как приятно делать добро! Вы спасли этого несчастного. Если бы не вы, все было бы кончено: он бы погиб. Вы вернули его жизни, ласкам близких. В эту минуту он, должно быть, благословляет вас. Эварист, я счастлива и горда тем, что люблю вас!

Под руку, тесно прижавшись друг к другу, шли они по улицам и чувствовали себя такими легкими, словно крылья выросли у них за плечами.

Они направились к „Амуру-Художнику“.

— Пройдем не через магазин,— сказала Элоди, когда они уже свернули на улицу Оратории.

Войдя через ворота во двор, она поднялась с ним во второй этаж. На площадке она вынула из ридикюля большой железный ключ.

— Можно подумать, что это тюремный ключ,— заметила она.— Эварист, вы будете моим узником.

Они прошли через столовую и очутились в спальне девушки.

Эварист чувствовал на губах свежесть губ Элоди. Он сжал ее в своих объятиях. Откинув голову, томно закатив глаза, изогнув стан так, что волосы рассыпались у нее по плечам, почти теряя сознание, она выскользнула из его рук и поспешно задвинула засов...

Было уже далеко за полночь, когда гражданка Блез отперла своему любовнику дверь квартиры и шепнула ему в темноте:

— Прощай, любовь моя! Сейчас должен вернуться отец. Если ты услышишь шаги на лестнице, быстро поднимись этажом выше и не спускайся, пока не убедишься, что всякая опасность миновала. Внизу постучи три раза в окно привратнице: она выпустит тебя на улицу. Прощай, жизнь моя, прощай, моя душа!

Очутившись на улице, Эварист увидел, как приоткрылось окно в комнате Элоди, и алая гвоздика, сорванная маленькой ручкой, упала, точно капля крови, к его ногам.

ХП



днажды вечером, когда старик Бротто принес двенадцать дюжин картонных плясунов гражданину Кайю, владельцу лавки на улице Закона, торговец игрушками, обычно вежливый и обходительный, встретил его, среди своих кукол и паяцов, крайне неприветливо.

— Берегитесь, гражданин Бротто,— сказал он,— берегитесь! Не всегда время шутить, и не всякая шутка уместна. Член Комитета общественной безопасности нашей секции, посетивший вчера мое заведение, видел ваших плясунов и нашел, что они контрреволюционны.

— Он пошутил!— ответил Бротто.

— Как бы не так, гражданин, как бы не так. Этот человек шуток не любит. Он сказал, что эти фигурки— прямое издевательство над представителями нации, что в некоторых из них можно определенно узнать карикатуры на Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера, и он их забрал. Это чистый убыток для меня, не говоря уже об опасности, которой я подвергаюсь.

— Как? Эти Арлекины, Жили, Скарамуши, Колены и Колетты, которых я рисую так же, как рисовал их Буше полвека назад,— копии Кутонов и Сен-Жюстов? Да ни один разумный человек этому не поверит.

— Возможно,— возразил гражданин Кайю,— что вы действовали без злого умысла, хотя никогда не мешает относиться с опаской к остроумцам вроде вас. Но это все-таки игра с огнем. Незачем далеко ходить за примером: позавчера арестовали за неблагонадежность владельца театрिका на Елисейских полях, Натуаля, обвинив его в том, что он Полишинелем высмеивает Конвент.

— Взгляните еще раз на эти маски и лица,— сказал Бротто, поднимая холстину, которой были прикрыты его маленькие висельники,— разве это не персонажи комедий и пасторалей? Как же вы позволили себя уверить, гражданин Кайю, что я высмеиваю Национальный конвент?

Бротто был изумлен. Зная, как беспредельна человеческая глупость, он все же никогда бы не подумал, что его Скарамуши и Ко-

линетты могут кому-то показаться подозрительными. Он вступился за них, отстаивая свою и их невинность. Но гражданин Кайю и слышать не хотел ни о чем.

— Забирайте обратно ваших плясунов, гражданин Бротто. Я уважаю, я высоко ценю вас, но не желаю, чтобы меня поносили и беспокоили из-за вас. Я уважаю закон. Я хочу быть благонадежным гражданином и таковым считаться. До свиданья, гражданин Бротто! Забирайте своих плясунов!

Старик Бротто отправился домой, унося на плече, на кончике жерди, своих опальных человечков; по дороге ребята осыпали его насмешками, воображая, что это продавец крысиного мора. Мысли его были печальны. Конечно, он жил не одними только плясунами: он рисовал под воротами и в винном погребе на рынке, окруженный вязальщицами, портреты по двадцати су за штуку, и главными его заказчиками были молодые люди, уезжавшие в армию и желавшие оставить свой портрет подруге сердца. Но эта грошовая работа чрезвычайно претила ему, и надо было очень стараться, чтобы портрет вышел таким же удачным, как картонный плясун. Иногда он исполнял обязанности писца у рыночных торговков, но это значило впутываться в роялистские заговоры и рисковать слишком многим. Он вспомнил, что на улице Нев-де-Пти-Шан, недалеко от бывшей Вандомской площади, есть другой торговец игрушками, гражданин Жоли, и решил завтра же предложить ему товар, от которого малодушно отказался Кайю.

Стал накрапывать мелкий дождь. Боясь, как бы не пострадали его плясуны, Бротто прибавил шаг. Проходя по Новому мосту, мрачному и безлюдному, и собираясь свернуть на Тионвильскую площадь, он увидел при свете фонаря худощавого старика, сидевшего на тумбе: истощенный голодом и усталостью, в дырявом плаще, без шляпы, незнакомец все-таки сохранял полную достоинства осанку; на вид ему было лет шестьдесят. Приблизившись к несчастному, Бротто признал в нем отца Лонгмара, которого полгода назад спас от петли, когда они оба стояли в „хвосте“ у булочной на Иерусалимской улице. Оказанная тогда монаху услуга побудила Бротто, подойдя к Лонгмару, напомнить ему, что он — тот самый мытарь, который очутился рядом с ним в толпе, как-то во время голода дожидавшейся выдачи хлеба, и спросил, не может ли быть чем-нибудь ему полезен.

— Вы, повидимому, очень устали, отец мой. Вам надо подкрепиться.

И Бротто извлек из кармана своего коричневого сюртука небольшой пузырек с водкой, который он носил вместе с Лукрецием.

— Выпейте. Я помогу вам добраться домой.

Отец Лонгмар отстранил от себя пузырек и попробовал подняться. Но тотчас же снова опустился на тумбу.

— Сударь,— сказал он слабым, но уверенным голосом,— уже три месяца, как я живу в Пикшосе. Узнав, что вчера в пять часов пополудни приходили арестовать меня, я не вернулся домой. У меня нет пристанища; я брожу по улицам и немного устал.

— В таком случае, отец мой,— сказал Бротто,— позвольте просить вас оказать мне честь и поселиться у меня на чердаке.

— Но поймите, сударь,— возразил варнавит,— я ведь нахожусь под подозрением.

— Я тоже,— ответил Бротто,— и мои плясуны также, что, пожалуй, хуже всего. Вот они здесь, под жалкой холстиной, на дожде, от которого дрогнем мы оба. Надо вам сказать, отец мой, что после того, как я был мытарем, я теперь зарабатываю себе на хлеб игрушками.

Отец Лонгмар принял руку, протянутую ему бывшим финансистом, и согласился воспользоваться предложенным гостеприимством. В своей мансарде Бротто угостил его сыром, хлебом и вином, которое он предварительно поставил охладить в жолоб, так как был сибаритом.

— Сударь,— заговорил отец Лонгмар, утолив голод,— я должен рассказать вам об обстоятельствах, вынудивших меня бежать и доведших до печального состояния, в котором вы нашли меня на тумбе. После того как меня изгнали из монастыря, я жил на жалкое пособие, установленное мне еще Учредительным собранием; я давал уроки латыни и математики и сочинял брошюры о преследованиях церкви во Франции. Я даже написал довольно объемистый труд, с целью доказать, что конституционная присяга священников противоречит церковной дисциплине. Успехи революции лишили меня всех учеников, а пенсию мне перестали выплачивать, так как я не мог представить требуемое законом свидетельство о гражданской благонадежности... За этим-то свидетельством я и отправился в ратушу, вполне убежденный, что заслуживаю его. Являясь членом ордена,

учрежденного самим апостолом Павлом, который гордился своим римским гражданством, я льстил себя надеждой, что поступаю по его примеру, как добрый французский гражданин, относящийся с уважением ко всем человеческим законам, если только они не идут вразрез с законами божескими. Я подал свое прошение господику Колену, колбаснику и муниципальному чиновнику, ведающему выдачей такого рода удостоверений. Он спросил меня о моем звании. Я сказал, что я священник. Тогда он осведомился, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, заявил, что тем хуже для меня. Наконец, после целого ряда вопросов, он спросил, доказал ли я свой патриотизм десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая. „Свидетельство о гражданской благонадежности,—прибавил он,—выдается только тем, кто доказал свой патриотизм в эти дни“. Мой ответ не удовлетворил его. Тем не менее он записал мое имя и адрес и пообещал в ближайшее же время навести обо мне необходимые справки. Он сдержал слово, и, в результате наведенных справок, два комиссара пикпюсского Комитета общественной безопасности, в сопровождении вооруженной силы, явились в мое отсутствие ко мне на дом, дабы отвести меня в тюрьму. Не знаю, в каком преступлении меня обвиняют. Но согласитесь, нельзя не пожалеть господина Колена, рассудок которого достаточно помрачен, если он может упрекать лицо духовное в том, что тот не доказал своего патриотизма десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая. Человек, способный думать таким образом, поистине достоин жалости.

— У меня тоже нет удостоверения,—ответил Бротто.—Мы оба находимся под подозрением. Но вы устали, отец мой. Ложитесь спать. Завтра мы обсудим, как устроить вас понадежнее.

Он уступил было гостю матрац, а сам уже собирался лечь на соломенный тюфяк; но монах так настоятельно просил уступить тюфяк ему, что Бротто пришлось удовлетворить просьбу: иначе отец Лонгмар улегся бы на голом полу.

Покончив с приготовлениями, Бротто задул свечу—из экономии и из осторожности.

— Сударь,—сказал монах,—я сознаю все, что вы делаете для меня. Но, увы, я ничем не могу отблагодарить вас. Да вознаградит вас за все господь: это было бы для вас гораздо существеннее. Но бог не считает заслугой то, что делается не во славу его и что


является лишь выражением природной добродетели. Поэтому я умоляю вас, сударь, сделайте во имя его то, что вы намеревались сделать ради меня.

— Отец мой,—возразил Бротто,—не утруждайте себя какой бы то ни было признательностью и не благодарите меня. Все, что я сейчас делаю и значение чего вы преувеличиваете, я делаю не из любви к вам: ибо, в конце концов, хотя вы и приятны мне, отец мой, я все-таки слишком мало знаю вас, чтобы любить. Я поступаю так не из любви к человечеству: ибо я не настолько наивен, как Дон-Жуан, чтобы подобно ему полагать, будто человечество имеет какие-то права; меня даже огорчает этот предрассудок в человеке столь просвещенном, как он. Я действую так из эгоизма, который внушает человеку все великодушные и самоотверженные поступки, заставляя его узнавать самого себя во всяком страждущем, предрасполагая оплакивать в чужом несчастье свое собственное, побуждая оказывать поддержку ближнему, до того похожему на него и своей природой и судьбой, что, помогая ему, он как бы помогает себе самому. Я поступаю так еще и от безделья: жизнь до такой степени бесцветна, что надо рассеяться какой угодно ценой; благотворительность — развлечение довольно пошлое, которому предаешься за отсутствием других, более приятных; я поступаю так из гордости и чтобы иметь преимущество перед вами; наконец, я поступаю так из любви к системе и из желания показать вам, на что способен атеист.

— Не клеветайте на себя, сударь,—ответил отец Лонгмар.—Я сподобился от господа бога больших милостей, чем те, какими он взыскал вас по сей день; но я не стою вас и уступаю вам во всех природных достоинствах. Позвольте мне, однако, сказать вам, что у меня есть одно преимущество перед вами. Не зная меня, вы не можете меня любить. А я, сударь, не зная вас, люблю вас больше, чем самого себя: так повелевает мне господь.

С этими словами отец Лонгмар опустился на колени, прочел молитвы, затем растянулся на соломенном тюфяке и спокойно заснул.

ХІІІ

варист Гамлен второй раз заседал в Трибунале. Перед началом заседания он беседовал со своими товарищами по суду о новостях, полученных утром. Были среди них неточные и ложные, но то, что не вызывало сомнений, было ужасно. Союзные армии, завладев всеми путями к Парижу, наступали разом. Вандея побеждала, Лион восстал, Тулон уже сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек.

Для присяжных это были факты, непосредственно их касавшиеся, а не только события, за которыми следил весь мир. Твердо зная, что гибель отечества будет их собственной гибелью, они рассматривали благо государства как свое личное дело. Интересы нации, слитые с личными их интересами, диктовали им чувства, страсти, поступки.

Гамлен, уже сидя на скамье, получил письмо от Трюбера, секретаря Комитета обороны: это было извещение о назначении Эвариста секционным комиссаром по снабжению войск порохом и селитрой.

Ты произведешь обыск во всех подвалах, в пределах секции, с тем, чтобы изъять оттуда все вещества, необходимые для приготовления пороха. Неприятель, быть может, завтра будет под стенами Парижа: надо, чтобы отечественная почва породила молнию, которою мы поразим врага. Посылаю тебе при этом инструкцию Конвента об устройстве селитроварен. Братский привет.

В эту минуту ввели обвиняемого. Это был один из последних разбитых врагом генералов, которых Конвент отдал суду Трибунала,—едва ли не самый незначительный из них. Увидев его, Гамлен вздрогнул: ему показалось, что это тот самый военный, которого три недели назад судили и отправили на гильотину, когда он, Гамлен, сидел в местах для зрителей. Это был тот же человек, упрямый и ограниченный; это был тот же процесс. Подсудимый отвечал так угрюмо и грубо, что портил самые выигрышные из своих ответов. Придирки, словесные уловки, обвинения, возводимые им на подчиненных, заслоняли почетную задачу, которую он

выполнял, защищая свою честь и жизнь. В этом деле все было неясно и спорно: расположение армий, численность войск, количество боевых припасов, приказы полученные, приказы отданные, передвижение частей,—ни в чем не было определенности. Никто ничего не понимал в этих операциях, запутанных, нелепых, бесцельных, приведших к катастрофе: защитник и даже сам подсудимый понимали не больше, чем обвинитель, судьи и присяжные; но, странное дело, никто не признавался ни другим, ни самому себе, что он ничего не понимает. Судьи с явным удовольствием зарывались в планы, обсуждали вопросы тактики и стратегии; обвиняемый обнаруживал свою прирожденную склонность к крючкотворству.

Спорили без конца. А Гамлену во время этих прений чудилось, как на неровных дорогах севера взнут в грязи зарядные ящики, опрокидываются в канавы пушки, по всем направлениям бегут в беспорядке разбитые колонны, меж тем как неприятельская кавалерия надвигается отовсюду сквозь покинутые проходы. И ему казалось, что он слышит чудовищный вопль преданной своими полководцами армии, вопль, обвиняющий генерала. К концу прений в зале уже было темно, и неясный бюст Марата белел призраком над головой председателя. Мнения присяжных разделились. Гамлен глухим, застревающим в горле голосом, в котором, однако, звучала решимость, объявил, что подсудимый виновен в измене республике, и шепот одобрения, прошедший по толпе, был наградой его молодому рвению. Приговор прочли при свете факелов, и багровый их отблеск дрожал на впалых висках осужденного, на которых выступили капли пота. У выхода, на ступеньках лестницы, где копошились досужие кумушки с кокардами на чепцах, Гамлен услышал, как называли его имя: оно уже становилось известным посетителям Трибунала; преградив ему дорогу, толпа „вязальщиц“, потрясая кулаками, требовала казни австриячки.

На другой день Эваристу пришлось высказаться по вопросу о виновности одной бедной женщины, вдовы Мейрион, поставщицы хлеба. Она развозила свой товар в ручной тележке, отмечая зарубками на деревянной дощечке, висевшей у нее на поясе, количество проданного хлеба. Зарабатывала она восемь су в день. Товарищ общественного обвинителя проявил особую жестокость по отношению к этой бедной женщине, которая якобы не раз кричала: „Да здравствует король!“, вела контрреволюционные речи в домах, куда она

ежедневно доставляла хлеб, и участвовала в заговоре, имевшем целью способствовать бегству жены Капета. Допрошенная судьей, она признала инкриминируемые ей факты; то ли по простоте, то ли из фанатизма, она с чрезвычайной экзальтацией высказала свои роялистские симпатии и этим сама себя погубила.

Революционный трибунал стремился к торжеству идеи равенства, карая грузчиков и служанок так же сурово, как аристократов и финансистов. Гамлен не допускал мысли, чтобы это могло быть иначе при демократическом режиме. Он считал бы позорным, оскорбительным для народа, если бы наказание на него не распространялось. Это значило бы признать народ, так сказать, недостойным наказания. Сохранить гильотину для одних аристократов, по его мнению, было равносильным установлению несправедливой привилегии. В глазах Гамлена идея наказания получала религиозно-мистическую окраску; оно становилось чем-то положительным, приобретало какие-то достоинства. Он считал, что кара есть долг по отношению к преступникам и что лишать их ее значит умалять их права. Он объявил, что вдова Мейрион виновна и достойна смертной казни, но выразил при этом сожаление, что фанатики, погубившие ее и более виновные, нежели она, остались на свободе и не разделяют ее участи.

Почти каждый вечер Эварист отправлялся на собрания якобинцев, происходившие на улице Оноре, в старинной доминиканской церкви, известной в просторечии под именем „якобинской“. Во дворе, где росло дерево Свободы — тополь, листья которого вечно трепетали и шелестели, — стояла невзрачная и угрюмая церковь, придавленная тяжелой черепичной кровлей с оголенным шипцом; фасад здания был прорезан слуховым оконцем и сводчатой дверью, над которой красовалось трехцветное знамя, увенчанное колпаком Свободы. Якобинцы, подобно кордельерам и фельянам, захватили у изгнанных монахов не только помещение, но и имя.

Гамлен, в свое время не пропускавший ни одного заседания кордельеров, не заметил у якобинцев ни деревянных башмаков, ни карманьол, ни криков дантонистов. В клубе Робеспьера царили чиновничья сдержанность и буржуазная степенность. С тех пор как Друга Народа не было в живых, Эварист внимал наставлениям Максимилиана, подчинившего авторитету своей мысли клуб якобин-



цев и оттуда, при посредстве нескольких тысяч местных клубов, простиравшего свое влияние на всю Францию. Пока читали протокол, он скользил взором по голым, унылым стенам, которые прежде служили приютом духовным сынам беспощадного борца с ересью, а теперь были свидетелями сборищ не менее ревностных борцов с преступлениями против отечества.

Здесь пребывала без пышности и проявляла себя в слове самая могущественная власть в стране. Она управляла Парижем, государством, диктовала свои декреты Конвенту. Эти основоположники нового строя, столь уважавшие закон, что оставались роялистами в 1791 году и, из упрямой приверженности к Конституции, даже после Варенна,— эти друзья установленного порядка, не изменившие ему и после резни на Марсовом поле, никогда не восстававшие против революции, чуждые народным движениям,— эти люди питали в своей мрачной и могучей душе любовь к отечеству, сумевшую создать четырнадцать армий и воздвигнуть гильотину. Эварист восхищался их бдительностью, прозорливостью, догматичностью мышления, любовью к порядку, умением управлять и государственной мудростью.

Публика, наполнявшая залу, время от времени единодушно и размеренно вздрагивала, как листья на дереве Свободы, росшем у входа.

В этот день, одиннадцатого вандемьера, неспешно поднялся на трибуну молодой человек, остроносый, рябой, с покатым лбом, выступающим подбородком и бесстрастным выражением лица. Он был в слегка напудренном парике и носил голубой фрак, обрисовывавший талию. У него была та сдержанность движений, та рассчитанность поз, которые позволяли одним насмешливо утверждать, что он похож на учителя танцев, а другим — именовать его более почтительно „французским Орфеем“. Робеспьер звонким голосом произнес громкую речь против врагов республики, он обрушился убийственными метафизическими доводами на Бриссо и его сообщников. Он говорил долго, дветисто и плавно. Витая в небесных сферах философии, он поражал оттуда своими молниями заговорщиков, пресмыкавшихся на земле.

Эварист услышал и понял. До сих пор он обвинял Жиронду в том, что она готовится восстановление монархии или триумф орлеанистов и замышляет гибель героического города, который освободил Францию и освободит весь мир. Теперь же, внимая голосу

мудреца, он прозревал более возвышенные и более чистые истины; он постигал революционную метафизику, подымавшую его дух над преходящими явлениями грубой действительности, удивившую прочь от заблуждений чувств в область абсолютной достоверности. Все вещи сами по себе запутаны и полны неясностей; события сложны до того, что в них можно потеряться. Робеспьер упрощал ему все, представлял добро и зло в простых и ясных формулах. Федерализм, неделимость: в единстве и неделимости заключалось спасение, в федерализме — вечные муки. Гамлен испытывал глубокую радость верующего, который знает, в чем спасение и в чем погибель. Отныне Революционный трибунал, как некогда церковные суды, будет иметь дело с преступлением абсолютным, с преступлением словесным. И так как Эварист обладал религиозным складом ума, он воспринимал эти откровения с мрачным энтузиазмом; его сердце радостно трепетало, воспламенялось и ликовало: отныне он знает, как распознать преступление и невинность. О сокровища веры, вы заменяете людям все!

Мудрый Максимилиан разъяснял ему также коварные намерения тех, кто желал уравнивать имущественные блага, разделить землю, уничтожить богатство и нищету и установить для всех посредственное благополучие. Увлеченный их теориями, Эварист сначала одобрял их намерения, так как считал, что они вполне соответствуют принципам истинного республиканца. Но Робеспьер своими речами в якобинском клубе разоблачил их происки и вывел на чистую воду людей, которые под благовидным предлогом стремились к ниспровержению республики и возбуждали богачей лишь для того, чтобы в их лице законная власть приобрела могущественных и непримиримых врагов. В самом деле, при первой же угрозе собственности, все население, тем более привязанное к своему имуществу, чем это имущество незначительнее, восстанет как один человек против республики. Затрагивать материальные интересы значит плодить заговоры. Якобы подготавливая всеобщее счастье и царство справедливости, те, кто предлагал гражданам добиваться равенства и общности имущества, являлись в действительности изменниками и злодеями, более опасными, чем федералисты.

Но главное, на что ему открыл глаза мудрый Робеспьер, это преступный и гнусный характер атеизма. Гамлен никогда не отрицал существования бога: он был деистом и верил в провидение,

которое бдит над людьми. Но сознаваясь самому себе, что он крайне неясно постигает природу верховного существа, и будучи убежденным сторонником свободы совести, он охотно допускал, что честные люди могут, по примеру Ламетри, Буланже, барона Гольбаха, Лаланда, Гельвеция, гражданина Дюшои, отрицать существование бога, устанавливая наряду с этим основы естественной морали и находя в самих себе источник справедливости и принципы добродетельной жизни. Он даже испытывал сочувствие к атеистам, когда видел, что их поносят или преследуют. Максимилиан просветил его ум, снял пелену с глаз. Своим возвышенным красноречием этот великий человек вскрыл перед ним подлинную сущность безбожия, его природу, его тенденции, его последствия; он доказал, что эта доктрина, возникшая в салонах и будуарах аристократии, была наиболее коварным измышлением врагов народа, стремившихся таким путем развратить и поработить его; что преступно лишать несчастных людей утешительной надежды на провидение, которое каждому воздает по заслугам, и оставлять их без руководства, без сдерживающего начала, во власти страстей, унижающих человека и делающих из него гнусного раба; что, наконец, монархический эпикуреизм какого-нибудь Гельвеция ведет к безнравственности, к жестокости, ко всем преступлениям. И, с тех пор как уроки великого гражданина просветили его, он возненавидел атеистов, в особенности если они обладали жизнерадостным и веселым характером, вроде старика Бротто.

В следующие дни Эваристу пришлось одного за другим судить: бывшего дворянина, изобличенного в уничтожении зерна с целью довести народ до голода; трех эмигрантов, вернувшихся во Францию, чтобы разжечь в ней гражданскую войну; двух девиц из Пале-Эгалите; четырнадцать заговорщиков-бретонцев—женщин, стариков, юношей, хозяев и слуг. Преступление было доказано, закон—точен. В числе подсудимых была женщина лет двадцати, в расцвете молодости и красоты, которой близость неизбежного конца сообщала особое очарование. Ее золотистые волосы были перевязаны голубой лентой, а батистовая косынка прикрывала гибкую белую шею.

Эварист неуклонно голосовал за смертную казнь, и всех обвиняемых, за исключением одного старика-садовника, отправили на эшафот.

В течение следующей недели Эварист и его товарищи сосили сорок пять мужчин и восемнадцать женщин.

Судьи Революционного трибунала не делали различия между мужчинами и женщинами, руководствуясь в этом отношении принципом не менее древним, чем само правосудие. И если председатель Монтане, тронутый мужеством и красотой Шарлотты Корде, пытался спасти ее, прибегнув ради этого к подлогу, за что и был смещен с должности, то в большинстве случаев женщин опрашивали без всяких поблажек, в соответствии с общими правилами судопроизводства. Присяжные побаивались женщин, опасались их лукавства, их всегданнего притворства, их чар. Не уступая в смелости мужчинам, они тем самым давали Трибуналу основания обращаться с ними, как с мужчинами. Большинство тех, кто их судил, люди, в которых чувственность спала или пробуждалась лишь в положенное время, нисколько этим не смущались. Они приговаривали женщин к гильотине или оправдывали их, руководствуясь совестью, предрассудками, рвением, степенью своей любви к республике. Почти все женщины являлись в суд тщательно причесанными и одетыми с той изысканностью, какая только была возможна в их грустном положении. Но между ними было мало молодых и еще меньше красивых. Тюрьма и заботы иссушили их, яркий свет в зале выдавал их усталость, их страх, подчеркивал поблекшие веки, нездоровый румянец, бледные, судорожно сжатые губы. Но все-таки в роковом кресле не раз можно было увидеть молодую, прекрасную, несмотря на бледность, женщину, глаза которой, подернутые мрачной тенью, казалось были затянуты томною поволокой страсти. Сколько присяжных при таком зрелище испытывало нежность или раздражение! Сколько их, в глубине своей развращенной души, пытались проникнуть в самые сокровенные тайны этого создания, которое они представляли себе одновременно живым и мертвым! Сколько таких судей, вызывая перед собой сладострастные и кровавые картины, не отказывали себе в жестоком удовольствии предать в руки палача вожделенное тело жертвы! Обо всем этом следовало бы, может быть, умолчать, но отрицать это, зная мужчин, нельзя никак. Эварист Гамлен, холодный и сведущий художник, признавал только античную красоту, и красота не столько волновала его, сколько внушала ему уважение. Его классический вкус был столь строг, что редкая женщина нравилась ему: он был нечув-

ствителен к прелести миловидного личика так же, как к краскам Фрагонара или формам Буше. Чтобы испытывать желание, он должен был глубоко любить.

Как большинство его товарищей по Трибуналу, он считал женщин опаснее мужчин. Он ненавидел бывших принцесс, которые представлялись ему, в ночных кошмарах, делающими, вместе с Елизаветой и австриячкой, пули для убийства патриотов; он ненавидел также всех этих подруг сердца финансистов, философов, писателей, повинных в том, что они предавались чувственным и духовным наслаждениям и жили в такое время, когда жилось привольно. Он ненавидел их, не признаваясь самому себе в этой ненависти, и когда ему приходилось судить одну из таких женщин, он приговаривал ее к смерти, давая волю кипящей в сердце злобе, но убежденный, что действует справедливо и в интересах общего блага. И его честность, его мужское целомудрие, его холодная рассудительность, его преданность государству, его добродетели подводили под секиру одну трогательную головку за другой.

Но что случилось,— что означает это чудо? Еще недавно надо было разыскивать виновных, прилагать старания, чтобы обнаружить их в убежищах, и чуть не насильно вырывать у них признание в преступлении. А теперь это уже не охота со своєю ищеек, не преследование робкой дичи: теперь жертвы уже со всех сторон сами предлагают себя. Дворяне, девицы, солдаты, публичные женщины потоком устремляются в Трибунал, торопят судей, медлящих с приговором, требуют смерти, как права, которым им не терпится воспользоваться. Как будто недостаточно того множества людей, которыми наполнили тюрьмы ревностные доносчики и которых общественный обвинитель со своими помощниками с трудом успевают провести перед Трибуналом,— надо еще заботиться о казни тех, кто не хочет ждать! А сколько есть и таких, еще более горячих и гордых, которые, не желая уступать эту честь судьям и палачам, сами убивают себя! Жажде убийства соответствует жажда смерти. Вот, в Консьержери, молодой военный, красавец, пышущий здоровьем, любимый; он оставил в тюрьме обаятельную любовницу, которая сказала ему: „Живи для меня!“ Но он не хочет жить ни для нее, ни для любви, ни для славы. Обвинительным актом он разжег трубку. И, республиканец до мозга костей, ибо он страстно любит свободу, он объявляет себя роялистом для того, чтобы умереть.

Трибунал прилагает все старания, чтобы оправдать его, но обвиняемый оказывается сильнее: судьи и присяжные вынуждены уступить.

От природы беспокойный и добросовестный ум Эвариста, под влиянием уроков якобинцев и окружающей жизни стал подозрителен и тревожен. Когда ночью, направляясь к Элоди, Эварист проходил по плохо освещенным улицам, ему казалось, что сквозь отдушину он видит в погребе доску для печатания фальшивых ассигнаций; за пустой лавкой булочника или бакалейного торговца ему мерещились целые склады, ломящиеся от съестных припасов, спрятанных с целью спекуляции; за ярко освещенными окнами ресторанов ему чудились речи биржевиков, обсуждающих за бутылкой бонского вина или шабли, как довести страну до гибели; в зловонных переулках он видел веселых девиц, готовых под рукоплескания молодых щеголей втоптать в грязь национальную кокарду; на каждом шагу он встречал заговорщиков и изменников. И он думал: „Республика! Против стольких врагов, тайных и явных, у тебя есть одно только средство. Святая гильотина, спаси отечество!..“

Элоди ожидала его в своей голубой спальне, над „Амуром-Художником“. Чтобы он знал, что можно войти, она ставила на подоконник, рядом с горшком гвоздики, зеленую лещку. Теперь он внушал ей ужас, казался каким-то чудовищем: она боялась его и в то же время обожала. Всю ночь напролет кровожадный любовник и сладострастная девушка, не размыкая неистовых объятий, молча обменивались яростными поцелуями.

XIV

Встав на рассвете, отец Лонгмар подмел комнату, затем отправился на улицу Ада прослушать обедню в часовне, где обязанности пастыря нес один из священников, отказавшихся присягнуть конституции. В Париже было множество таких убежищ, в которых ослушное духовенство тайно собирало небольшие паствы. Секционная полиция, несмотря на всю настороженность и подозрительность, закрывала глаза на эти по-

таенные приюты веры, из опасения возмутить верующих, а также из остатка благоговения перед святыней. Варнавит попросился со своим хозяином, который с трудом уговорил его вернуться к обеду, да и то лишь после того, как гостю было обещано, что трапеза не будет ни обильной, ни изысканной.

Оставшись один, Бротто затопил маленькую плиту; готовя трапезу монаху и эпикурейцу, он перечитывал Лукреция и размышлял о человеческой судьбе.

Этот мудрец несколько не удивлялся, что жалкие существа, ничтожные игралища стихийных сил, обычно оказываются в нелепом и тяжелом положении, но он имел слабость думать, будто революционеры злее и глупее других людей, что, разумеется, было уже идеологией. Впрочем, он не был пессимистом и не находил, чтобы жизнь была из рук вон плоха. Он восхищался природой в некоторых ее проявлениях, особенно небесной механикой и физической любовью, и кое-как приспособлялся к тяготам жизни, в ожидании того неизбежного дня, когда ему уже не придется испытывать ни страха, ни желаний.

Он тщательно раскрасил несколько плясунов и сделал Церлину, походившую на Розу Тевенен. Эта женщина нравилась ему, и, в качестве эпикурейца, он вполне одобрял сочетание атомов, ее составлявших.

В этих делах он провел все время до возвращения варнавита.

— Отец мой,— сказал он, открывая ему дверь,— я предупредил вас, что трапеза будет скудная. У нас нет ничего, кроме каштанов. Да и они почти совсем без приправы.

— Каштаны!— воскликнул улыбаясь отец Лонгмар.— Лучшего блюда не бывает. Мой отец, сударь, был бедным лимузинским дворянином, все имущество которого заключалось в разрушенной голубятне, запущенном плодовом саде и небольшой каштановой рощице. Он и вся его семья, состоявшая из жены и дюжины ребят, питались только зелеными крупными каштанами, однако все мы выросли сильными и здоровыми. Я был самым младшим и самым буйным: отец, шутя, говаривал, что мне следовало бы отправиться в Америку и заняться там морским разбоем... Ах, сударь, как чудесно пахнет ваш суп из каштанов! Он напоминает мне стол, окруженный венцом ребят, которым улыбалась мать.

Пообедав, Бротто отправился к Жоли, торговцу игрушками с улицы Нев-де-Пти-Шан, который купил у него плясунов, отвергнутых Кайю, и заказал не двенадцать дюжин, как тот, а для начала целых двадцать четыре дюжины сразу.

Дойдя до бывшей Королевской улицы, Бротто увидел на площади Революции сверкающий стальной треугольник между двумя деревянными брусьями: это была гильотина. Несметная толпа веселых зевак теснилась вокруг эшафота, ожидая прибытия телег с осужденными. Женщины с лотками у живота выкликали свой товар — нантерские пирожные. Продавцы целебных настоек звонили в колокольчик; у подножия статуи Свободы старик показывал передвижные картины в райке, на верху которого сидела на качелях обезьяна. Под эшафотом псы лизали кровь, оставшуюся со вчерашнего дня. Бротто повернул назад, на улицу Оноре.

Возвратясь к себе на чердак, где варнавит читал свой требник, он тщательно вытер стол, затем поставил на него ящик с красками и прочие нужные инструменты и материалы.

— Отец мой,— сказал он,— если вы не считаете это занятие недостойным священного сана, которым вы облечены, помогите мне, пожалуйста, смастерить плясунов. Сегодня утром я получил крупный заказ от некоего господина Жоли. Вы оказали бы мне большое одолжение, если бы согласились вырезать по этим патронкам головы, руки, ноги и туловища, а я буду раскрашивать уже готовые фигурки. Лучших образцов не найти нигде: они срисованы с картин Ватто и Буше.

— Я думаю, сударь,— ответил Лонгмар,— что Ватто и Буше действительно были мастерами на такие безделушки; не сомневаюсь, что их слава только выиграла бы, если бы они ограничились этими невинными паяцами. Я был бы счастлив пособить вам, но боюсь, что окажусь недостаточно искусным помощником.

Отец Лонгмар был прав, сомневаясь в своих способностях: после нескольких неудачных попыток пришлось признать, что у него решительно не было таланта вырезать из тонкого картона перочинным ножиком изящные контуры. Но когда по его просьбе Бротто дал ему веревки и большую иглу с тупым кондом, он проявил настоящее искусство, приводя в движение крошечные существа, которых не умел мастерить, и уча их танцевать. Он проверил их, заставив каждого проделать несколько па гавота, и, когда

его старания увенчались успехом, легкая улыбка скользнула по его суровым губам.

— Сударь,— сказал он, дергая в такт за веревочку Скарамуша,— эта фигурка напоминает мне странную историю. Дело происходило в 1746 году. Я заканчивал свое послушничество под началом у отца Мажито, человека почтенного возраста, глубокой учености и весьма строгих нравов. В ту пору, если только вы помните, плясуны, предназначенные прежде на забаву детям, вызывали к себе необычайный интерес у женщин и даже у мужчин, у стариков и молодежи,— они производили в Париже настоящий фурор. Лавки торговцев, бывших тогда в ходу, ломались от паяцов. Даже люди значительные заводили их себе, и нередко можно было встретить важную особу, которая, прогуливаясь, дергала за веревочку паяца... Ни возраст, ни характер, ни профессия отца Мажито не уберегли его от общей заразы. Видя, как у всех вокруг пляшет в руках картонный человечек, он чувствовал зуд в пальцах, вскоре ставший почти нестерпимым. Однажды он отправился по весьма важному делу, касавшемуся всего ордена, на дом к господину Шовелю, адвокату при Парламенте, и, увидав подвешенного к камину плясуна, испытал сильнейшее желание дернуть его за веревочку. Лишь с великим трудом поборол он в себе искушение. Но это легкомысленное желание продолжало смущать его и не давало ему покоя. Оно преследовало его во время научных занятий, в часы размышлений и молитв, в церкви, в капитуле, в исповедальне, на кафедре. Проведя несколько дней в ужасающем смятении, он рассказал об этом необыкновенном случае командору ордена, по счастью находившемуся об эту пору в Париже. Это был ученый муж и один из князей Миланской церкви. Он посоветовал отцу Мажито удовлетворить желание, невинное по существу, но чрезвычайно неприятное по своим последствиям, ибо, если не дать ему выхода, оно угрожало внести в обуреваемую им душу тягчайшую смуту. По совету, или, вернее, по приказанию командора, отец Мажито вернулся к господину Шовелю, который, как и в первый раз, принял его в кабинете. Там, увидев плясуна, подвешенного к камину, он быстро подошел к нему и попросил у хозяина позволения подергать веревочку. Адвокат охотно разрешил и признался, что иногда, обдумывая предстоящие выступления в суде, он сам заставляет плясать Скарамуша (так звали паяца) и что еще накануне он составил

под его движения речь в защиту женщины, неправильно обвиненной в отравлении мужа. Отец Мажито с трепетом схватил веревочку и увидел, как по его воле Скарамуш запрыгал и заметался, точно одержимый, из которого изгоняют бесов. Удовлетворив, таким образом, свою прихоть, он избавился от наваждения.

— Ваша история меня не удивляет, отец мой,— сказал Бротто.— В жизни человека бывают наваждения. Но не всегда их вызывают фигурки.

Отец Лонгмар, хотя и был монахом, никогда не говорил о религии. Бротто, напротив, заговаривал о ней постоянно. И так как он чувствовал известную симпатию к варнавиту, ему доставляло удовольствие смущать его и ставить втупик возражениями против различных пунктов христианского вероучения.

Однажды, мастера вместе с Лонгмаром Церлин и Скарамушей, Бротто заметил:

— Размышляя над событиями, которые привели нас к нынешнему положению, я не могу сказать, какая из партий проявила себя наиболее безумной в повальном безумии, охватившем всех, и порою склонен думать, что первенство в этом отношении принадлежит придворной партии.

— Сударь,— ответил монах,— все люди теряют рассудок, когда их, как Навуходносора, покидает бог. Однако ни один из наших современников не погряз столь глубоко в невежестве и заблуждении, никто не оказался для королевства столь роковым человеком, как аббат Фоше. Поистине, господь тяжело разгневался на Францию, если послал ей аббата Фоше!

— Мне кажется, мы видели злодеев, ни в чем не уступавших несчастному Фоше.

— Аббат Грегуар натворил также не мало зла.

— А Бриссо, а Дантон, а Марат, а сотни других? Что скажете вы о них, отец мой?

— Сударь, это миряне: миряне не несут такой ответственности, как духовенство. Они не так вознесены, и содеянное ими зло не может иметь столь общее значение.

— А ваш бог, отец мой? Что вы скажете об его поведении в переживаемой нами революции?

— Не понимаю вас, сударь.

— Эпикур сказал: либо бог хочет воспрепятствовать злу, но

не может, либо он может, но не хочет, либо он не может и не хочет, либо, наконец, он хочет и может. Если он хочет, но не может, он бессилён; если он может, но не хочет, он жесток; если он не может и не хочет, он бессилён и жесток; если же он может и хочет, почему он этого не делает, отец мой?

И Бротто с удовлетворением взглянул на собеседника.

— Сударь,— ответил монах,— нет ничего более жалкого, чем приводимые вами доводы. Когда я рассматриваю аргументы, на которые опирается неверие, мне кажется, что я вижу перед собой муравьёв, пытающихся несколькими былинками преградить дорогу потоку, низвергающемуся с гор. Разрешите мне не вступать с вами в спор: у меня много доказательств, но мало находчивости. К тому же, вы найдете опровержение ваших суждений у аббата Генея и у двадцати других духовных писателей. Скажу только, что слова Эпикура, которые вы привели,— сплошная глупость: ваш мудрец подходит к богу, как к простому смертному, подчинённому законам человеческой морали. Что же? Неверующие, начиная с Цельсия и кончая Бейлем и Вольтером, всегда водили за нос дураков при помощи таких же парадоксов.

— Вот видите, отец мой,— возразил Бротто,— на что толкает вас ваша вера. Мало того, что для вас вся истина в теологии: вы не находите ни крупины истины в произведениях стольких гениев, мыслящих иначе, чем вы.

— Вы глубоко ошибаетесь, сударь,— ответил Лонгмар.— Напротив, я убежден, что нет такой неверной мысли, которая была бы ложной до конца. Атеисты находятся на самой низкой ступени познания мира; но и тут можно встретить проблески донимания и зарницы истины; даже в тех случаях, когда человек деликом погружен во мрак, он поднимает кверху чело, которое господь осенил светом разума: таков удел Люцифера.

— Ну, сударь,— сказал Бротто,— я не буду столь великодушен и признаюсь, что во всех сочинениях ваших богословов не нахожу ни атома здравого смысла.

Он все еще оправдывался в своих нападках на религию, так как считал ее необходимой для народа; ему только хотелось, чтобы ее служителями были философы, а не спорщики о вере. Он сожалел, что якобинцы желают заменить ее более молодой и более вредной религией, религией свободы, равенства, республики, отече-

ства. Он убедился, что в раннюю пору своего расцвета религии бывают всего яростнее и свирепее и что под старость они становятся значительно мягче. Поэтому он стоял за сохранение католицизма, который в эпоху своего расцвета поглотил немало жертв и теперь, отяжелев с годами, проявлял гораздо меньшей аппетит, довольствуясь четырьмя-пятью поджаренными еретиками в столетие.

— Впрочем,— прибавил он,— я всегда отлично уживался с богоедами и хриstopоклонниками. У меня в дез-Илетт был свой священник: каждое воскресенье он служил обедню в присутствии всех моих гостей. Среди них философы были самыми сосредоточенными, а оперные певицы самыми ревностными. Тогда я был счастлив и насчитывал много друзей.

— Друзей!— воскликнул отец Лонгмар,— друзей!.. Ах, сударь, и вы полагаете, что они вас любили, все эти философы и куртизанки, которые до такой степени извратили вашу душу, что сам господь с трудом узнал бы в ней один из храмов, воздвигнутых им во славу свою!

Целую неделю прожил отец Лонгмар у бывшего откупщика, и никто его за это время не потревожил. Он следовал, насколько это было возможно, правилам ордена и в урочные часы поднимался с тюфяка, чтобы, стоя на коленях, читать ночные молитвы. Хотя оба они питались крайне скудно, он соблюдал пост и воздержание. Философ с грустной улыбкой следил за этим самоистязанием и как-то спросил:

— Неужели вы в самом деле думаете, что богу приятно видеть, как вы страдаете от холода и голода?

— Сам господь,— ответил монах,— подал нам пример страдания.

На девятый день пребывания варнавита на чердаке у философа, Бротто, когда уже стемнело, понес своих плясунов Жоли, торговцу игрушками с улицы Нев-де-Пти-Шан. Он возвращался довольный, что расторговался, как вдруг на бывшей площади Карусели навстречу ему устремилась, прихрамывая, молоденькая девушка в голубой атласной шубке, отделанной горностаем. Она бросилась к нему в объятия и обхватила его руками, как это делали во все времена те, кто молит о защите.

Она дрожала; сердце ее громко и часто билось. Восхищенный



патетичностью ее вульгарной позы, старый театрал Бротто подумал, что мадемуазель Рокур могла бы извлечь из этого зрелища кое-какую пользу для себя.

Девушка говорила прерывающимся голосом, понижая его до шепота из опасения, что ее услышат прохожие:

— Уведите меня, гражданин, спрячьте меня, умоляю вас! Они у меня в спальне, на улице Фроманто. Пока они подымались по лестнице, я укрылась у Флоры, моей соседки, а потом выпрыгнула из окна на улицу и повредила себе при этом ногу... Они гонятся за мной; они хотят засадить меня в тюрьму и казнить... На прошлой неделе они казнили Виржини.

Бротто сообразил что она говорила о делегатах Революционного комитета секции или о комиссарах Комитета общественной безопасности. Коммуна имела в ту пору добродетельного прокурора, гражданина Шометта, преследовавшего публичных женщин как самых опасных врагов республики. Он хотел очистить нравы. Правду сказать, девицы из Пале-Эгалите были неважные патриотки. Они сожалели о старом порядке и не всегда скрывали это. Некоторых из них уже гильотинировали как заговорщиц, и их трагическая судьба побудила многих им подобных последовать их примеру.

Гражданин Бротто спросил у девушки, чем вызвала она приказ об аресте.

Она поклялась, что ничего не знает, что ей не в чем себя упрекнуть.

— В таком случае, дитя мое,— сказал Бротто,— ты вне подозрений: тебе нечего бояться. Иди спать и оставь меня в покое.

Тогда она призналась во всем:

— Я сорвала с себя кокарду и крикнула: „Да здравствует король!“

Он пошел с ней вдоль пустынных набережных. Повиснув у него на руке, она рассказывала:

— И не так уж я его люблю, короля-то; вы, конечно, понимаете, что я его никогда и не видала, и, быть может, он мало чем отличался от других людей. Но эти злы. Они жестоко обращаются с бедными девушками. Они меня мучат, притесняют и оскорбляют всеми способами; они хотят помешать мне заниматься моим ремеслом. У меня ведь нет другого. Можете мне поверить, что, будь у меня другое, я бы не занималась этим... Чего они хо-

тят? Они бесчеловечно преследуют слабых и беззащитных — молочника, угольщика, водоноса, прачку. Они успокоятся только тогда, когда восстаноят против себя весь бедный люд.

Он посмотрел на нее: она показалась ему совсем ребенком. Ей уже не было страшно. Она теперь улыбалась и, слегка прихрамывая, шла рядом. Он спросил, как ее зовут. Она ответила, что ее имя Атенаис и что ей шестнадцать лет.

Бротто предложил отвезти ее, куда она хочет. Она никого не знала в Париже, но у нее в Палезо была тетка-служанка, которая, может быть, приютит ее у себя.

Бротто принял решение:

— Пойдем, дитя мое,— сказал он.

И, взяв ее под руку, повел к себе.

В мансарде он застал отца Лонгмара за чтением требника.

Он указал ему на Атенаис, которую держал за руку:

— Отец мой, это девушка с улицы Фроманто; она крикнула: „Да здравствует король!“ Революционная полиция гонится за ней по пятам. Ей негде преклонить голову. Вы разрешите ей переночевать здесь?

Отец Лонгмар захлопнул требник.

— Если я вас хорошо понял,— сказал он,— вы меня спрашиваете, сударь, может ли эта молодая девушка, которой так же, как и мне, угрожает арест, ради своего временного спасения провести ночь в одной комнате со мной?

— Да, отец мой.

— На каком же основании я мог бы противиться этому? Разве я уверен, что я лучше ее, чтобы считать себя оскорбленным ее присутствием?

Он расположился на ночь в старом колченогом кресле, уверяя, что прекрасно выспится в нем. Атенаис легла на матрац. Бротто растянулся на соломенном тюфяке и задул свечу.

На колокольнях отзванивали часы и половины. Бротто не спал и прислушивался к дыханию монаха, смешивавшемуся с дыханием девушки. Взошла луна, образ и свидетельница его былых любовных утех, и ее серебряный луч, проникнув в мансарду, осветил белокурые волосы, золотистые ресницы, тонкий нос и круглый пунцовый рот Атенаис, спавшей, сжав кулачки.

„Вот,— подумал он,— страшный враг республики!“

Когда Атенаис проснулась, было уже совсем светло. Монах ушел. Бротто, у окна, читал Лукреция и учился у латинской музы жить без страха и без желаний. Однако его одолевали и сожаления и тревоги.

Открыв глаза, Атенаис с удивлением заметила у себя над головой голые балки чердака. Но потом вспомнила все, улыбнулась своему спасителю и, ласкаясь, протянула ему свои прелестные грязные ручки.

Приподнявшись на ложе, она указала пальцем на ветхое кресло, в котором провел ночь монах.

— Он ушел?.. Как по-вашему, он не донесет на меня?

— Нет, дитя мое. Трудно найти более порядочного человека, чем этот старый безумец.

Атенаис спросила, в чем проявляется безумие старика.

Когда же Бротто сказал ей, что он помешан на религии, она с серьезным видом стала укорять его, зачем он так говорит, и заявила, что люди без религии хуже скотов; что же касается ее, она часто молится богу в надежде, что он простит ей все грехи и по великой милости своей примет ее в лоно свое.

Заметив в руках у Бротто книгу, она решила, что это требник.

— Вот видите,— воскликнула она,— и вы тоже молитесь богу! Господь вознаградит вас за все, что вы сделали для меня.

Бротто ответил, что эта книга не требник и что она написана в то время, когда никаких треб еще не существовало; тогда она подумала, что это сонник, и спросила, нет ли в нем объяснения странному сну, который она видела этой ночью. Она не умела читать и понаслышке знала только эти два рода сочинений.

Бротто ответил, что книга эта объясняет только жизненный сон. Найдя ответ непонятным, красotka отказалась от мысли постигнуть его и окунула кончик носа в глиняную чашку, заменявшую Бротто серебряные тазы, которыми он прежде пользовался. Затем она тщательно и чрезвычайно деловито стала приводить в порядок свою прическу перед зеркальцем для бритья, принадлежавшим ее хозяину. Запрокинув белые руки над головой, она роняла время от времени несколько слов.

— По-моему, вы когда-то были богаты.

— Откуда ты это взяла!

— Сама не знаю. Но вы были богаты, и вы аристократ, я в этом уверена.

Она вынула из кармана серебряную иконку божьей матери в круглой оправе из слоновой кости, кусочек сахара, нитки, ножницы, огниво, два-три игольника и, отобрав то, что было ей нужно, принялась зашивать юбку, порванную в нескольких местах.

— Ради собственной безопасности, дитя мое, приколите вот это себе к чепцу!— сказал Бротто, протягивая ей трехцветную кокарду.

— Охотно сделаю это, сударь,— ответила она,— но это будет из любви к вам, а не из любви к нации.

Одевшись и тщательно прихорошившись, она взялась обеими руками за юбку, и, как учили ее этому в деревне, сделала Бротто реверанс:

— Ваша покорнейшая слуга, сударь.

Она готова была отплатить своему благодетелю любимым способом, но находила вполне уместным, что он от нее ничего не требовал и что она ничего не предлагала: ей казалось, что будет очень мило, если они так и расстанутся, соблюдая все правила приличия.

Бротто сунул ей в руку несколько ассигнаций, чтобы она могла добраться в почтовой карете до Палезо. Это была половина его состояния, и, хотя он славился своей щедростью по отношению к женщинам, ни с одной он еще не делился так по-братски всем, что имел.

Она спросила, как его зовут.

— Меня зовут Морис.

Он с сожалением раскрыл перед нею дверь мансарды:

— Прощайте, Атенаис.

Она поцеловала его.

— Господин Морис, если вы когда-нибудь вспомните обо мне, называйте меня Мартой: этим именем меня крестили, этим именем звали в деревне... Прощайте... Благодарю вас... Ваша покорнейшая слуга, господин Морис!



адо было разгрузить переполненные тюрьмы, надо было судить,—судить, не позволяя себе ни отдыха, ни передышки. Сидя вдоль стен, декорированных ликторскими вязками и красными колпаками, подобно тому как их предшественники заседали среди королевских лилий, члены Революционного трибунала хранили важность и ужасающее спокойствие королевских судей. Общественный обвинитель и его помощники, измученные усталостью, изнуренные бессонницей и водкой, с величайшим усилием стряхивали с себя оцепенение: вконец распатанное здоровье делало их трагичными. Присяжные, люди различные по происхождению и по характеру, одни образованные, другие невежественные, подлые или великодушные, кроткие или свирепые, лицемерные или искренние,—все они, перед лицом опасности, угрожавшей отечеству и республике, испытывали или притворялись, будто испытывают одну и ту же тревогу, горят одним и тем же пламенем; все они, жестокие из добродетели или из страха, составляли одно существо, одну глухую, разъяренную голову, одну душу, одного апокалипсического зверя, который, выполняя свое естественное назначение, обильно сеял вокруг себя смерть. Эмоциональные как в снисходительности, так и в беспощадности, они иногда, под влиянием внезапного порыва жалости, со слезами на глазах, оправдывали обвиняемого, которого час назад, осыпав градом насмешек, отправили бы на эшафот. По мере того как они подвигались вперед в осуществлении своей задачи, эти люди все порывистее следовали велениям своего сердца.

Они судили в лихорадочно-дремотном состоянии, вызванном переутомлением, судили, подстрекаемые извне, подчиняясь приказам свыше, под угрозами санкюлотов и „вязальщиц“, толпившихся на трибунах и местах для публики, судили, основываясь на вынужденных показаниях свидетелей и горячих актах, в духоте, отравлявшей мозг, вызывавшей шум в ушах и боль в висках, застилавшей глаза кровавым туманом. В народе смутно поговаривали, что присяжные подкуплены обвиняемыми. Но на эти слухи суд в полном своем составе отвечал негодующими протестами и беспощадными приговорами. В конце концов, это были люди не хуже и не лучше дру-

гих. Безупречность чаще всего дело счастья, а не добродетель: всякий, кто согласился бы стать на их место, действовал бы точно так же, как они, и выполнял бы с грехом пополам возложенные на них чудовищные задачи.

Долгожданная Антуанетта, вся в черном, села, наконец, в роковое кресло, и ее появление сопровождалось таким взрывом ненависти, что только всеобщая уверенность в исходе процесса позволила соблюсти нужные формальности. На задаваемые ей убийственные вопросы обвиняемая отвечала, то руководствуясь инстинктом самосохранения, то движимая своим обычным высокомерием, а однажды, в ответ на гнусную выходку одного из обвинителей,—и с величием матери. Свидетелям разрешались только оскорбления и клевета; защита онемела от страха. Трибунал, скрепя сердце подчинившийся всем правилам судопроизводства, ждал, когда все это кончится, чтобы швырнуть в лицо Европе голову австриячки.

Три дня спустя после казни Марии-Антуанетты Гамлена позвали к гражданину Фортюне Трюберу, умиравшему на складной кровати, в келье изгнанного варнавита, в тридцати шагах от канцелярии Военного комитета, где он окончательно надорвал себе здоровье. Его бледная голова глубоко ушла в подушки. Невидящим взором стеклянных глаз он посмотрел на Эвариста; иссохшая рука схватила руку друга и сжала ее с неожиданной силой. На протяжении двух последних дней у него три раза шла горлом кровь. Он сделал попытку заговорить; голос, сначала глухой и слабый, как шопот, окреп, зазвучал громче:

— Ватиньи! Ватиньи!.. Журдан разбил неприятеля в его лагере... принудил снять осаду с Мобежа... Мы снова захватили Маршьен. Ça ira... Ça ira...

Он улыбнулся.

Это не было бредом больного. Ясное сознание действительности еще освещало этот мозг, на который надвигался вечный мрак. Отныне вторжение врага было, повидимому, приостановлено: терроризированные генералы убедились, что им не остается ничего другого, как побеждать. То, чего нельзя было создать путем вербовки добровольцев,—мощную и дисциплинированную армию,—создали принудительным набором. Еще одно усилие, и республика будет спасена.

Пролежав около полчаса в забытѣ, Фортюне Трюбер, на лицо

которого смерть уже наложила свою печать, оживился, приподнял руки.

Он указал пальцем на единственную находившуюся в его комнате мебель, ореховый письменный стол, и слабым задыхающимся голосом, но в полном сознании проговорил:

— Друг мой, как Евдамид, я завещаю тебе свои долги: триста двадцать ливров... список там... в красной тетради... Прощай, Гамлен. Бодрствуй. Стой на страже республики. *Са іга*.

Вечерние сумерки уже сгустились в келье. Слышно было, как тяжело дышал умирающий и как его пальцы царапали одеяло.

В полночь он обронил несколько бессвязных слов:

— Еще селитры... Отберите ружья... Здоровье?.. Отлично... Снимите эти колокола...

В пять часов утра он испустил дух.

По распоряжению секции тело выставили в бывшей церкви варнавитов, у подножия алтаря отечества, на походной койке, покрыв его трехцветным знаменем и возложив на голову покойника дубовый венок. Двенадцать стариков в римских тогах, с пальмовой ветвью в руках, и двенадцать юных девушек, в длинных покрывалах и с гирляндами цветов, окружали смертное ложе. У ног покойного двое детей держали по опрокинутому факелу. В одном ребенке Эварист узнал дочку консьержки, Жозефину, своей детской серьезностью и очаровательной красотой напоминавшую ему тех гениев любви и смерти, которых римляне изваивали на саркофагах.

Под пение марсельезы и „*Са іга*“ погребальное шествие направилось на кладбище Сент-Андре-дез-Ар.

Запечатлевая прощальный поцелуй на челе Фортуне Трюбера, Эварист плакал. Он оплакивал самого себя, завидуя тому, кто, исполнив свой долг, покоился вечным сном.

Возвратившись домой, он получил извещение, что назначен членом Генерального совета Коммуны. Уже четыре месяца он числился кандидатом и теперь был избран, не имея конкурентов, после нескольких баллотировок, всего тридцатью голосами. Избирать было некому: секции обезлюдели; богатые и бедные всячески старались уклониться от общественных повинностей. Самые крупные события не возбуждали уже ни энтузиазма, ни любопытства; газет никто не читал. Эварист сомневался, найдется ли среди семисот тысяч обитателей столицы три-четыре тысячи настоящих республиканцев.

В этот самый день начался процесс двадцати одного жирондиста Конвента.

Неповинные или виновные в несчастях и преступлениях республики, тщеславные, неосторожные, честолюбивые и легкомысленные, в одно и то же время умеренные и неистовые, нерешительные и в терроре и в милосердии, торопливые в объявлении войны и медлительные в ее ведении, привлеченные к суду по примеру, который они сами дали, эти люди и теперь еще были ослепительной молодостью революции; а вчера они были ее очарованием и славой. Этот судья, который сейчас станет их допрашивать с изощренным пристрастием; этот обвинитель с бескровным лицом, там, у своего столика, готовящий им смерть и бесчестие; эти присяжные, которые не пожелают даже выслушать защиту; эта публика на трибунах, встречающая их бранью и свистом,— все они, судья, присяжные, народ, еще недавно рукоплескали их красноречию, превозносили их таланты, их добродетели. Но теперь они не помнят об этом.

Верньо был когда-то для Эвариста богом, а Бриссо оракулом. Но он совершенно забыл об этом, и если в его памяти еще сохранился какой-то след бывшего преклонения, то лишь настолько, чтоб относиться к этим людям как к чудовищам, увлекшим за собою лучших граждан.

Возвращаясь после заседания домой, Гамлен услышал душераздирающие вопли. Это кричала маленькая Жозефина, которую мать секла за то, что, играя на площади с ребятишками, она перепачкала прелестное белое платье, которое на нее надели для участия в похоронах гражданина Трюбера.

XVI

Три месяца кряду изо дня в день приносил Эварист в жертву родине людей знаменитых и безвестных, пока, наконец, ему не пришлось быть судьей в процессе, касавшемся лично его: одного из обвиняемых он сделал своим собственным обвиняемым.

С тех пор как Гамлен заседал в Трибунале, он жадно выискивал в толпе привлеченных к суду, проходившей у него перед глазами,

соблазнителя Элоди: в своем неугомонном воображении он составил себе образ этого человека, причем некоторые его черты представлялись ему совершенно ясно. Он рисовал его себе юным, красивым, дерзким и почему-то был уверен, что он эмигрировал в Англию. Ему почудилось, что он обнаружил его в лице молодого эмигранта Мобеля, который, возвратившись во Францию, был арестован в Пасси по доносу содержателя гостиницы и дело которого, вместе с несколькими сотнями однородных дел, находилось в производстве у Фукье-Тенвиля. При задержанном оказались письма, в которых следствие усматривало доказательства заговора, составленного Мобелем и агентами Питта; в действительности же это были письма лондонских банкиров, у которых эмигрант поместил свои деньги. Мобель, молодой красавец, повидимому больше всего был занят любовными делами. В его записной книжке нашлись заметки, свидетельствовавшие о сношениях с Испанией, с которой Франция в то время вела войну; эти записи носили, в сущности, совершенно интимный характер, и если суд еще не постановил прекратить дело Мобеля за отсутствием улик, то лишь в силу принципа, что никогда не следует торопиться с освобождением арестованного.

Ознакомившись с подробностями первого допроса Мобеля, Гамлен был поражен сходством характера молодого аристократа с теми чертами, которые он приписывал человеку, злоупотребившему доверием Элоди. С тех пор Эварист, запираясь на целые часы в кабинете секретаря Трибунала, с жаром изучал дело. Его подозрения чрезвычайно усилились, когда он наткнулся в старой записной книжке эмигранта на адрес „Амура-Художника“, правда рядом с адресами „Зеленой Обезьяны“, „Портрета (бывшей) Дофины“ и еще других лавок, торговавших эстампами и картинами. Но когда он узнал, что в той же записной книжке нашли несколько лепестков красной гвоздики, тщательно переложенных шелковой бумагой, то, помня, что красная гвоздика — любимый цветок Элоди, который она вращивала у себя на окне, носила в волосах, дарила (он сам это знал) в знак любви, Эварист уже больше не сомневался.

Теперь, когда его предположения перешли в уверенность, он решил допросить Элоди, утаив от нее, однако, обстоятельства, которые помогли ему обнаружить преступника.

Подымаясь по лестнице к себе, он еще на нижней площадке почувствовал одуряющий запах фруктов и застал в мастерской Элоди,

помогавшую гражданке Гамлен варить айвовое варенье. Пока старая хозяйка, растапливая плиту, прикидывала в уме, как бы сэкономить уголь и сахарный песок без ущерба для качества варенья, гражданка Блез, сидя на соломенном стуле, в сером холщевом переднике, с грудой золотистых плодов на коленях, чистила айву и, разрезая на четвертинки, бросала в медный таз. Боковые рюши ее чепца были отведены назад, пряди черных волос спускались ей на влажный лоб; от всего ее существа исходило очарование домашнего уюта и непринужденной грации, которое вызывало нежные мысли и не будило чувственности.

Не двигаясь с места, она подняла на своего любовника прекрасные глаза цвета расплавленного золота:

— Видите, Эварист, мы работаем для вас,— сказала она.— Всю зиму вы будете есть восхитительное желе из айвы: это укрепит вам желудок и улучшит настроение.

Но Гамлен, подойдя, шепнул ей на ухо:

— Жак Мобель...

В эту минуту в приотворенную дверь мастерской сунул свой красный нос сапожник Комбало. Он принес вместе с башмаками, к которым приделал новые каблуки, счет за прежние починки.

Из опасения прослыть плохим гражданином он пользовался новым календарем. Гражданка Гамлен, любившая ясность в счетах, совершенно терялась в фруктидорах и вандемьерах.

Она вздохнула:

— Господи Иисусе! Они все хотят переименовать: дни, месяцы, времена года, солнце и луну! Боже мой, господин Комбало, что это за пара галош восьмого вандемьера?

— Взгляните на ваш календарь, гражданка, и вам все станет ясно.

Она сняла со стены календарь, взглянула на него и тотчас отвела глаза:

— У него совсем не христианский вид!— воскликнула она в испуге.

— Мало того, гражданка,— подхватил сапожник,— у нас теперь только три воскресенья, вместо четырех. И это еще не все: скоро переменят нашу систему счета. Не будет больше ни лиаров, ни денье, за основу счисленья будет взята дистиллированная вода.

При этих словах у гражданки Гамлен дрогнули губы. Подняв глаза к потолку, она вздохнула:

— Это уже слишком!

Пока она сокрушалась, напоминая своим видом тех святых жен, которых изображают у подножия сельских распятий, голышечка, разгоревшаяся на пылающих углях, наполнила мастерскую смрадом, что вместе с одуряющим запахом айвы делало воздух совсем невыносимым.

Элоди стала жаловаться, что у нее першит в горле, и попросила открыть окно. Но как только сапожник ушел и гражданка Гамлен вернулась к плите, Эварист вторично шепнул на ухо гражданке Блез:

— Жак Мобель!

Она взглянула на него, немного удивленная, и, с невозмутимым спокойствием, продолжая разрезать айву на четвертинки, спросила:

— Ну и что же?.. Жак Мобель?..

— Это он!

— Кто он?

— Тот, которому ты подарила красную гвоздику.

Она заявила, что ничего не понимает, и потребовала, чтоб он объяснил, в чем дело.

— Этот аристократ! Этот эмигрант! Этот подлец!..

Она пожала плечами и с глубокой искренностью стала уверять, что не была знакома ни с каким Жаком Мобелем.

И действительно, она никогда его не знала.

По ее словам, она никому, кроме Эвариста, не дарила красных гвоздик. Но в этом пункте, пожалуй, память ей и изменяла.

Он плохо знал женщин и не слишком хорошо изучил характер Элоди, однако считал, что она способна притворяться и может легко обмануть человека и более опытного, чем он.

— Зачем отпираться? — сказал он. — Я знаю.

Она снова попыталась убедить его, что никогда не была знакома ни с каким Мобелем. И, кончив чистить айву, попросила дать ей воды: у нее липли пальцы.

Гамлен принес газ с водой.

Моя руки, она возобновила свои уверения.

Он повторил, что знает все, и на этот раз она ничего не возразила.

Она даже не догадывалась, куда клонится вопрос ее любовника, и была бесконечно далека от мысли, что этот Мобель, о котором она никогда не слыхала, должен будет предстать перед Революционным трибуналом; она ничего не понимала в подозрениях, которыми ей докучал Эварист, но знала всю их неосновательность. Поэтому, не надеясь их рассеять, она и не стремилась сделать это. Она больше не отрицала, что знакома с Мобелем, предпочитая направить ревнивца по ложному следу, ибо в любую минуту малейшая случайность могла навести его на верный путь. Прежний избранник ее сердца, незначительный писец, превратившийся в патриот-драгуна, был теперь в ссоре со своей любовницей-аристократкой. Встречая Элоди на улице, он смотрел на нее взглядом, который, казалось, говорил: „Ну, ну, моя красотка! Я чувствую, что скоро прощу вам свою измену и не сегодня-завтра верну вам благосклонность“. Поэтому она больше не старалась излечить возлюбленного от того, что называла его причудами, и Гамлен остался в убеждении, что Жак Мобель — соблазнитель Элоди.

В последующие дни Трибунал занимался без передышки уничтожением федерализма, который, как гидра, упреждал поглотить свободу. Это были трудные дни, и присяжные, изнемогая от усталости, поспешили отправить на эшафот гражданку Ролан, вдохновительницу или соучастницу преступлений бриссотинцев.

Между тем Гамлен каждое утро являлся в суд, настаивая на скорейшем рассмотрении дела Мобея. В Бордо находились важные документы: он добился того, что за ними отправили на почтовых комиссара. Наконец они прибыли.

Помощник общественного обвинителя ознакомился с ними, поморщился и сказал Эваристу:

— Ну, бумаги-то не из важных, ничего существенного. Всякий вздор! Будь у нас хотя бы уверенность, что этот бывший граф Мобель эмигрировал!..

Наконец Гамлен добился своего. Молодой Мобель получил обвинительный акт и девятнадцатого брюмера предстал перед Революционным трибуналом.

С самого начала заседания у председателя было угрюмое и злое выражение, которое он стремился придать своему лицу всякий раз, когда дело было неясное. Товарищ общественного обвинителя

пером почесывал себе подбородок и всячески старался принять вид человека, совесть которого чиста. Секретарь огласил обвинительный акт: всех поразила его необоснованность.

Председатель спросил у подсудимого, знал ли он о законах изданных против эмигрантов.

— Да, я знал их и соблюдал,— ответил Мобель.— Когда я уезжал из Франции, мой паспорт был в полной исправности.

По поводу обстоятельств, вызвавших его путешествие в Англию и возвращение на родину, он дал вполне удовлетворительные объяснения. Лицо у него было приятное; откровенность и достоинство, с которым он держался, располагали в его пользу. Женщины, заведая трибун, смотрели на него благосклонным взглядом. Обвинение утверждало, что он проживал в Испании уже в то время, когда эта страна находилась в состоянии войны с Францией. Он же утверждал, что в ту пору не покидал Баскии. Один только пункт оставался невыясненным. В бумагах, которые он в момент ареста бросил в камин и от которых остались лишь клочки, можно было разобрать испанские слова и имя „Нивес“.

Жак Мобель наотрез отказался дать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. А когда председатель указал ему, что в интересах самого подсудимого осветить это обстоятельство, он ответил, что не всегда должно руководствоваться своими интересами.

Гамлен старался изобличить Мобеля лишь в одном преступлении: три раза он заставлял председателя спрашивать у подсудимого, может ли тот объяснить, что это за гвоздика, высохшие лепестки которой он так тщательно хранил. Мобель ответил, что не считает себя обязанным отвечать на вопрос, не имеющий к суду никакого отношения, ибо в этом цветке не нашли спрятанного письма.

Присяжные удалились в совещательную комнату, настроенные в пользу молодого человека, в запутанном деле которого главное место, повидимому, занимали любовные тайны. На этот раз даже самые горячие, самые правоверные патриоты охотно высказались бы за оправдательный приговор. Один из них, бывший дворянин, доказавший свою преданность революции, спросил:

— Неужели ему вменяют в вину его происхождение? Я, например, тоже имел несчастье родиться аристократом.

— Да, но ты порвал с этой средой,— возразил Гамлен,— а он остается в ней и поныне.

И он с такой яростью обрушился на этого заговорщика, на этого эмиссара Питта, на этого сообщника Кобурга, отправившего чуть ли не на край света, чтобы поднять против свободы ее врагов, он с таким жаром добивался осуждения изменника, что всколыхнул в суровой душе патриотов тревогу, всегда готовую пробудиться.

Один из них цинично заявил ему:

— Есть услуги, в которых нельзя отказать товарищу.

Смертный приговор был вынесен большинством одного голоса.

Осужденный выслушал его с невозмутимой улыбкой. Взгляд, которым он спокойно окинул весь зал, натолкнувшись на лицо Гамлена, исполнился невыразимым презрением.

Приговор был встречен пробовым молчанием.

Жака Мобеля отвели в Консьержери, и там, в ожидании казни, которая должна была состояться в тот же вечер, при свете факелов, он набросал письмо:

Дорогая сестра, Трибунал отправляет меня на эшафот, доставляя мне этим единственную радость, которую я еще могу испытать после смерти моей обожаемой Ниевес. Они забрали у меня все, что мне от нее оставалось,—цветок граната, который они, не знаю почему, называли гвоздикой.

Я любил искусство: в Париже, в счастливые времена, я собрал коллекцию картин и гравюр; они теперь спрятаны в надежном месте и будут тебе переданы при первой возможности. Прощу тебя, дорогая сестра, сохрани их на память обо мне.

Отрезав прядь волос, он вложил ее в письмо, запечатал конверт и написал:

Гражданке Клеманс Дезеймери, урожденной Мобель.

Ла-Реоль.

Он отдал все находившиеся при нем деньги тюремщику с тем, чтобы тот вручил письмо по назначению, затем спросил бутылку вина и в ожидании принялся пить его маленькими глотками.

После ужина Гамлен поспешил к „Амуру-Художнику“ и стремительно вбежал в голубую комнату, где каждую ночь его ожидала Элоди.

— Ты отомщена! — сказал он. — Жака Мобеля уже нет в живых. Телга, в которой его повезли на казнь, проехала под твоими окнами, окруженная факелами.


Она поняла:

— Негодяй! Это ты его убил, а он не был моим любовником. Я не знала его... никогда не видала этого человека... Каков он был собою? Наверно, молод, красив?.. И ведь он ни в чем неповинен!.. А ты убил его, негодяй! Негодяй!

Она лишилась сознания. Но и в обмороке, так походившем на смерть, она чувствовала, как, вместе с ужасом, ее заливают страсть. Она наполовину пришла в себя: из-под отяжелевших век показались белки глаз, грудь вздымалась, бессильно повисшие руки искали любовника. Она сжала его в своих объятиях, впиалась ему в тело ногтями и, прильнув судорожно раскрытым ртом, запечатлела на его губах самый немой, самый глухой, самый долгий, самый скорбный и самый восхитительный из поцелуев.

Она тянулась к нему всем телом, и чем ужаснее, беспощадней и свирепей он ей казался, чем больше обаграл он себя кровью своих жертв, тем сильнее жаждала она его.

XVII

 двадцать четвертого фримера, в десять часов утра, когда лучи солнца, окрасив небо в розовый цвет, уже разгояли холод ночи, в бывшую церковь варнавитов явились граждане Гено и Делурмель, делегаты Комитета общественной безопасности, и потребовали, чтобы их провели в Наблюдательный комитет секции, в залу капитула, где находился в это время гражданин Бовизаж, подкладывавший поленья в камин. Но из-за его маленького роста вошедшие не сразу заметили его.

Надтреснутым, слабым, как у большинства горбунов, голосом гражданин Бовизаж предложил делегатам присесть и заявил, что он к их услугам.

Гено спросил его, не знает ли он бывшего дворянина дез-Илетта, проживающего близ Нового моста,

— Это,— прибавил он,— субъект, которого мне поручено арестовать.

И он предъявил приказ Комитета общественной безопасности.

Бовизаж, порывшись немного в памяти, ответил, что не знает никого по имени дез-Илетт; что подозрительная личность, носящая эту фамилию, возможно даже не живет в их секции: ведь некоторые участки секций Музея, Единства, Марата и Марсели тоже расположены близ Нового моста; что если этот субъект и живет в их секции, то не под именем, которое обозначено в приказе Комитета, но что, тем не менее, он будет немедленно разыскан.

— Не будем терять времени! — сказал Гено.— Пашу бдительность пробудило письмо одной из его сообщниц, которое было перехвачено и доставлено в Комитет недели две тому назад, но гражданин Лакруа только вчера вечером получил возможность ознакомиться с его содержанием. Мы завалены доносами: они поступают отовсюду и в таком изобилии, что мы не знаем, за кого раньше приняться.

— Доносы стекаются и к нам, в Наблюдательный комитет,— не без гордости ответил Бовизаж.— Одни доносят из чувства гражданского долга, другие — ради награды в сто су. Есть много детей, которые доносят на родителей, зарясь на наследство.

— Это письмо,— снова заговорил Гено,— исходит от бывшей дворянки Рошмор, светской женщины, у которой играли в бириби, и адресовано гражданину Ролину, но в действительности оно предназначено какому-нибудь эмигранту, находящемуся на службе у Питта. Я захватил письмо с собою, чтобы сообщить вам все, что касается дез-Илетта.

Он вынул письмо из кармана.

— Пачинается оно длинным перечнем членов Конвента, которых, по словам этой женщины, можно было бы подкупить деньгами или обещанием предоставить им крупный пост при новом правительстве, более прочном, чем теперешнее. Затем идет следующее место:

Я только что была у господина дез-Илетта, живущего близ Нового моста, на чердаке, где его сам чорт не найдет; он вынужден зарабатывать себе на хлеб, делая картонных паяцов. В его суждениях много здравого смысла, вот почему я

передаю вам наиболее существенное из того, что он говорил мне. Ему не верится, что настоящее положение вещей продержится долго. Он не думает, что конец теперешнему порядку наступит только с победой коалиции, и события, повидимому, подтверждают его мнение: вы ведь знаете, что за последнее время вести с войны далеко не отрадны. Он считает более вероятным исходом восстание простонародья, восстание, в котором сыграют видную роль и женщины, еще глубоко приверженные к религии. Он полагает, что ужас, внушаемый всем гражданам Революционным трибуналом, вскоре объединит всю Францию против якобинцев. „Этот Трибунал,— заметил он шутя,— который судит французскую королеву и разностицу хлеба, похож на Вильяма Шекспира, столь любезного сердцу англичан, и т. д.“. По его мнению, не исключена возможность, что Робеспьер женится на дочери короля и провозгласит себя протектором королевства.

Я была бы вам весьма признательна, милостивый государь, если бы вы прислали причитающуюся мне сумму, а именно одну тысячу фунтов стерлингов, тем путем, каким вы всегда это делаете, но остерегайтесь писать господину Морхардту: его только что арестовали, посадили в тюрьму... и т. д. и т. д.

— Господин дез-Илетт делает паядов,— заметил Бовизаж,— это ценная примета... хотя у нас в секции немало мелких ремесленников такого рода.

— Это напоминает мне,— сказал Делурмель,— что я обещал принести куклу моей младшей дочке, Патали. Она больна скарлатиной. Вчера показалась сыпь. Болезнь эта не опасная, но требует ухода. А Патали очень умный ребенок, очень развита для своих лет, но здоровье у нее слабое.

— У меня,— заявил Гено,— один только мальчик. Он катает облучки от бочек и мастерит из бумажных картузов маленькие воздушные шары.

— Дети чаще всего забавляются предметами, не имеющими ничего общего с игрушками,— заметил Бовизаж.— Мой племянник Эмиль— очень смысленный семилетний мальчуган— целый день возится с кубиками, сооружая из них постройки... Не хотите ли?..

И Бовизаж протянул обоим делегатам раскрытую табакерку.
— Ну, а теперь пойдём прихлопнем нашего негодяя,— сказал Делурмель, носивший длинные усы и свирепо вращавший глазами.— Я сегодня не прочь позавтракать потрохами аристократа и запить их стаканом белого вина.

Бовизаж предложил делегатам отправиться на площадь Дофина в лавку его товарища, Дюпона-старшего, который, по всей вероятности, знает дез-Илетта.

Они шли в сопровождении четырех секционных гренадеров, дыша свежим воздухом.

— Видели вы „Королей на Страшном суде“? — спросил спутников Делурмель.— Пьесу стоит посмотреть. Автор выводит в ней королей Европы, укрывшихся на необитаемом острове, у подножья вулкана, который, в конце концов, поглощает их. Это — патриотическое произведение.

Делурмель указал на углу улицы Гарлея на маленькую блестящую, точно внутренность часовни, тележку, которую толкала старуха в клеенчатой шляпе поверх чепца.

— Чем она торгует? — спросил он.

Старуха сама ответила:

— Вот, взгляните, господа. Выбор у меня большой: четки всяких сортов, нательные кресты, образки святого Антония, плащаницы, платки святой Вероники, *Esse homo*, *Agnus Dei*, охотничьи рога и кольца святого Губерта и всякие предметы религиозного обихода.

— Да ведь это настоящий арсенал фанатизма! — возмутился Делурмель.

Он решил обстоятельно допросить старуху, но та на все его вопросы отвечала одной и той же фразой:

— Сынок, вот уж сорок лет, как я торгую этим товаром.

Один из делегатов Комитета общественной безопасности, увидав проходившего мимо солдата в синем мундире, приказал ему отвести в Консьержери удивленную старуху.

Гражданин Бовизаж заметил Делурмелю, что, собственно говоря, арестовать торговку и отправить ее в секцию должен был бы Наблюдательный комитет и что вообще никто не знает, какой политики следует придерживаться относительно бывшего культа, чтобы действовать согласно видам правительства: надлежит ли все разрешать или же все запрещать.

Подходя к мастерской столяра, делегаты и комиссар услышали яростные крики, скрип пилы и громкое шуршанье рубанка. Это ссорились столяр Дюпон-старший и его сосед, консьерж Ремакль. Причиной ссоры была гражданка Ремакль, которую неодолимая сила постоянно влекла в столярную мастерскую, откуда она возвращалась домой вся в стружках и опилках. Оскорбленный консьерж толкнул ногою собаку столяра как раз в ту минуту, когда его родная дочь Жозефина нежно обнимала Мутона. Возмущенная Жозефина накинулась с проклятиями на отца, а столяр, вне себя от гнева, заорал:

— Негодий! Я запрещаю тебе бить мою собаку!

— А я,— ответил Ремакль, замахиваясь на него метлой,— я запрещаю тебе...

Он не докончил фразы: фуганок столяра пролетел у него над самой головой.

Заметив издали гражданина Бовизаж в сопровождении делегатов, он устремился к нему навстречу:

— Гражданин комиссар,— крикнул он,— ты свидетель, что этот разбойник чуть не убил меня!

Гражданин Бовизаж в красном колпаке, отличительном признаке занимаемой им должности, умиротворяюще простер свои длинные руки:

— Сто су тому из вас,— сказал он, обращаясь к консьержу и к столяру,— кто укажет местонахождение подозрительной личности, разыскиваемой Комитетом общественной безопасности,— бывшего дворянина дез-Илетта, делающего паяцов.

Оба, и консьерж и столяр, в один голос назвав квартиру Бротто, отныне стали пререкаться лишь из-за ассигнации в сто су, обещанной доносчику.

Делурмель, Гено и Бовизаж, в сопровождении четырех гренадеров, консьержа Ремакля, столяра Дюпона и дюжины соседских мальчишек, поднялись гуськом по ступенькам, дрожащим под ногами, затем вскарабкались по приставной лесенке на самый верх.

Бротто на своем чердаке вырезывал плясунов, а отец Лонгмар, сидя напротив него, соединял ниткой разрозненные части тела и улыбался, видя, как у него под руками возникают ритм и гармония.

Услышав на площадке стук ружейных прикладов, он весь за-

трясся, не потому, чтобы был трусливее, чем Бротто, сохранивший невозмутимое спокойствие, но потому, что уважение окружающих избавляло его до сих пор от необходимости заботиться об осанке. По вопросам гражданина Делурмеля, Бротто сообразил, откуда исходит удар, и немного поздно убедился, что нельзя доверяться женщинам. Получив предложение последовать за гражданином комиссаром, он взял с собой Лукреция и три сорочки.

— Этот гражданин,— заявил он, указывая на отца Лонгмара,— мой подручный: я взял его к себе в помощь, мастерить плясунов. Он живет здесь же, в мансарде.

Но так как монах не мог представить свидетельства о гражданской благонадежности, его арестовали вместе с Бротто.

Когда шествие проходило мимо каморки консьержа, гражданка Ремакль, опираясь на метлу, окинула своего жильца взглядом добродетели, торжествующей при виде преступника в руках закона. Малютка Жозефина, на хорошеньком личике которой было написано презрение, удержала за ошейник Мутона, когда пес захотел лизнуть руку старому приятелю, не раз кормившему его сахаром. Толпа любопытных наполняла Тионвильскую площадь.

На нижней площадке лестницы Бротто встретил молоденькую крестьянку, собиравшуюся подняться наверх. На одной руке у нее висела корзина с яйцами, в другой она держала большую лепешку, завернутую в кусок холста. Это была Атенаис, привезшая из Палезо своему спасителю в знак благодарности эти скромные подарки. Увидав, что какие-то должностные лица и четыре гренадера уводят с собой „господина Мориса“, она остолбенела, не веря своим глазам, потом подошла к комиссару:

— Ведь не собираетесь же вы увести его?— ласково спросила она.— Это невозможно... Вы же совсем его не знаете! Он добрее господа бога.

Гражданин Делурмель отстранил ее и приказал гренадерам идти вперед. Тогда Атенаис разразилась неистовой бранью, осыпая самыми бесстыдными ругательствами делегатов и гренадеров, которым казалось, что на их головы выливают помой из всех лоханок Пале-Рояля и улицы Фроманто. Затем голосом, прозвучавшим на всю Тионвильскую площадь и заставившим вздрогнуть толпу зевак, она крикнула:

— Да здравствует король! Да здравствует король!



XVIII

Гражданка Гамлен любила старика Бротто и считала его самым любезным и почтенным человеком из всех, кого она встречала на своем веку. Она не попросилась с ним, когда его арестовали, потому что боялась проявить этим неуважение к властям и потому что, привыкнув в своем скромном положении смиряться перед сильными, вменяла трусость себе в долг. Но это происшествие было для нее потрясением, от которого она никак не могла оправиться.

Кусок не шел ей в горло, и она сокрушалась, что утратила аппетит как раз в то время, когда, наконец, получила возможность удовлетворять его. Она продолжала восхищаться сыном, но боялась даже думать о страшных обязанностях, выполняемых Эваристом, и радовалась тому, что она простая невежественная женщина, которая вправе не иметь собственного мнения.

Бедная мать нашла на дне чемодана старые четки; она не знала толком, как с ними обращаться, но беспрестанно перебирала их дрожащими пальцами. Прожив до старости без религии, она теперь стала набожной: по целым дням сидя у печки, она молила бога спасти ее сына и добрейшего господина Бротто. Нередко ее навещала Элоди; обе женщины, не смея взглянуть друг другу в глаза, усевшись рядом, говорили о незначительных, глубоко безразличных им вещах.

В один из дней пювиоза, когда от снега, падавшего крупными хлопьями, небо потемнело и звуки города доносились совсем глухо, гражданка Гамлен, находившаяся одна в квартире, услышала стук в дверь. Она вздрогнула: уже несколько месяцев малейший шум повергал ее в трепет. Она открыла дверь. Не снимая шляпы, в мастерскую вошел молодой человек лет восемнадцати-двадцати. На нем был бутылочного цвета каррик, трехъярусный воротник которого, закрывая грудь, доходил до самого пояса, и английские ботфорты с отворотами. Каштановые волосы локонами спускались ему на плечи. Он прошел до середины комнаты, как будто желая, чтобы весь свет, проникавший через запорошенное снегом окно, падал на него, и несколько минут неподвижно и молча постоял на месте.

Видя, что гражданка Гамлен смотрит на него в недоумении, он, наконец, спросил:

— Ты не узнаешь своей дочери?

Старуха всплеснула руками:

— Жюли!.. Это ты!.. Возможно ли?

— Разумеется, я. Поделуй же меня, мама!

Вдова Гамлен сжала дочь в объятиях и уронила слезу на воротник каррика.

— Ты! В Париже! — с явной тревогой в голосе воскликнула она.

— Ах, мама, почему я не приехала одна! Меня-то никто не узнает в этом наряде.

В самом деле, каррик скрадывал ее формы, и она ничем не отличалась от множества юношей, носивших, как она, длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. Ее тонкое очаровательное личико, загорелое, изможденное от усталости, огрубевшее от невзгод, выражало мужество и смелость. Худощавая, стройная, с длинными прямыми ногами, она держалась совершенно непринужденно; только слишком звонкий голос мог выдать ее.

Мать спросила, не голодна ли она. Жюли ответила, что охотно закусила бы, и когда мать поставила перед ней хлеб, вино и ветчину, она с жадностью принялась за еду, опершись локтем о край стола, прекрасная, как проголодавшаяся Церера в хижине старой Баубо.

Продолжая отпивать глотками вино, она спросила:

— Ты не знаешь, мама, когда вернется брат? Я пришла поговорить с ним.

Мать в замешательстве посмотрела на дочь и ничего не ответила.

— Мне надо повидать его. Мужа сегодня арестовали и отвели в Люксембург.

Она называла мужем Фортюне де-Шассаня, — бывшего дворянина и офицера одного из полков Булье. Он сошелся с нею, когда она работала мастерицей у модистки на Ломбардской улице, затем похитил и увез ее в Англию, куда он эмигрировал после десятого августа. Он был ее любовником, но она находила более приличным, говоря о нем с матерью, называть его супругом. Она, действительно, считала, что невзгоды поженили их и что несчастье — то же таинство.

Не одну ночь провели они вдвоем на скамейке в лондонских парках и не раз приходилось им подбирать корки хлеба под столом в тавернах Пикадилли.

Мать не отвечала и уныло глядела на неё.

— Ты не слушаешь меня, мама? Время не терпит, мне необходимо немедленно повидать Эвариста: он один может спасти Фортюне.

— Жюли,— ответила мать,— лучше тебе не говорить с братом.

— Как? Что ты сказала, мама?

— Я сказала, что лучше тебе не говорить с братом о господине Шассане.

— Однако это необходимо, мама!

— Дитя мое, Эварист до сих пор не может простить господину Шассаню, что он похитил тебя. Ты знаешь, с какой яростью он говорил о нем, какими именами он называл его.

— Да, он называл его развратителем,— с резким смешком сказала, пожимая плечами, Жюли.

— Дитя мое, он был смертельно оскорблен. Эварист дал себе слово не произносить никогда имени господина де-Шассаня. И вот уже два года, как он ни одним словом не обмолвился ни о нем, ни о тебе. Но чувства его не изменились. Ты знаешь его: он не простил вас.

— Но, мама, ведь Фортюне обвенчался со мною... в Лондоне...

Бедная мать, подняв кверху глаза, развела руками:

— Достаточно того, что Фортюне аристократ и эмигрант, чтобы Эварист относился к нему, как к врагу.

— Ответь мне прямо, мама. Неужели ты думаешь, что если я попрошу его похлопотать за Фортюне перед общественным обвинителем и в Комитете общественного спасения, Эварист не согласится? Мама, ведь надо быть извергом, чтобы отказать мне в этом!

— Твой брат, дитя мое, порядочный человек и отличный сын. Но не требуй, заклинаю тебя, не требуй от него, чтобы он принял участие в судьбе господина де-Шассаня... Послушай, Жюли: он не посвящает меня в свои мысли, да, вероятно, я и не в состоянии была бы понять его... Но он судья, у него есть твердые убеждения, он действует по совести. Не проси его ни о чем, Жюли.

— Вижу, что ты узнала его теперь. Ты знаешь, что это холодный, бесчувственный, злой человек, властолюбивый и тщеславный. А ты всегда предпочитала его мне. Когда мы жили все вместе, ты ставила его мне в пример. Его рассчитанные движения и степенная речь производили на тебя впечатление: ты находила в нем все добродетели. Меня же ты всегда осуждала, приписывала мне

всевозможные пороки только потому, что я не притворялась и лазила по деревьям. Ты меня не выносила. Ты любила его одного. 'Так знай же: я ненавижу твоего Эвариста! Это лицемер.

— Замолчи, Жюли: я была хорошей матерью и для тебя и для него. Я дала тебе в руки ремесло. Не моя вина, если ты не осталась честной девушкой и не вышла замуж за человека из нашей среды. Я нежно любила и люблю тебя. Прощаю тебя и люблю. Но не отзывайся дурно об Эваристе. Он прекрасный сын. Он всегда заботится обо мне. Когда ты ушла от меня, дитя мое, когда ты забросила свое ремесло и магазин и перебралась к господину де-Шассаню, что случилось бы со мной, если бы не он? Я умерла бы от нужды и от голода.

— Не говори так, мама: тебе отлично известно, что мы оба, Фортюне и я, окружили бы тебя заботами, если бы ты под влиянием Эвариста не отвернулась от нас. Не убеждай меня: он не способен на доброе дело. Он притворялся, будто заботится о тебе, только для того, чтобы ты возненавидела меня. Он! Любит тебя?.. Да разве он способен любить кого-нибудь? У него нет ни сердца, ни ума. Он совершенно бездарен, совершенно бездарен. Чтобы быть живописцем, надо иметь более тонкую натуру.

Она скользнула взором по полотнам Эвариста и нашла их в том самом состоянии, в каком она их оставила.

— Вот она, его душа! Холодная и мрачная, она вся в его полотнах. Его Орест, его Орест с бессмысленным взором, с отвратительным ртом, похожий на человека, которого посадили на кол, да ведь это он сам, в точности... Слушай, мама, разве ты не понимаешь? Я не могу оставить Фортюне в тюрьме. Ты ведь знаешь их, этих якобинцев и патриотов, всю эту шайку Эвариста. Они убьют его. Мама, дорогая мама, мамочка, я не хочу, чтобы они убили его! Я люблю его! Я люблю его! Он был так добр ко мне, и мы так много перестрадали вместе! Вот и каррик, что на мне,— с его плеча. У меня на теле не было даже сорочки. Один из приятелей Фортюне одолжил мне куртку, и в Дувре я поступила на службу к продавцу лимонада, а он работал подмастерьем у парикмахера. Мы отлично знали, что, возвращаясь во Францию, мы рискуем жизнью; но нам предложили отправиться в Париж и выполнить там важное поручение... Мы согласились: мы приняли бы поручение к самому дьяволу. Нам дали денег на дорогу и чек к одному из парижских бан-

киров. Но его контора оказалась закрытой: он сидит в тюрьме, и не сегодня-завтра его гильотинируют. У нас в кармане не было ни гроша. Все лица, с которыми мы были связаны и к которым мы могли бы обратиться, либо бежали, либо арестованы. Ни одной двери, куда можно бы постучаться. Мы ночевали в конюшне на улице Безголовой Женщины. Сердобольный чистильщик сапог, спавший вместе с нами на соломе, одолжил моему любовнику один из своих ящиков, щетку и банку с ваксой, уже на три четверти пустую. Фортюне две недели зарабатывал на жизнь нам обоим, чистя сапоги на Гревской площади. Но в понедельник к нему подошел один из членов Коммуны и, поставив ногу на ящик, предложил почистить сапоги. Раньше он был мясником, и Фортюне как-то дал ему хорошего пинка в зад за то, что мошенник обвесил его. Когда Фортюне поднял голову, чтобы получить причитающиеся ему два су, мерзавец узнал его, обозвал аристократом и припротизил арестовать. Собралась толпа; в ней были негодяи, которые закричали: „Смерть эмигранту!“ и стали звать жандармов. Как раз в эту минуту я принесла суп для Фортюне. У меня на глазах его повели в секцию и заперли в церкви святого Иоанна. Я хотела обнять его, но меня оттолкнули. Я провела ночь, как собака, на церковной паперти... А сегодня утром его отвезли... Жюли не могла договорить; рыдания душили ее.

Она бросила шляпу на пол и упала перед матерью на колени.

— Его отвезли сегодня утром в Люксембургскую тюрьму. Мама, мама, помоги мне спасти его! Сжалась над своей дочкой!

Вся в слезах, она распахнула каррик и, чтобы в ней легче можно было признать любовницу и дочь, обнажила грудь; схватив руки матери, она прижала их к трепещущей груди.

— Дочка моя дорогая, Жюли, моя Жюли!— вздохнула вдова Гамлен.

И прильнула влажным от слез лицом к щекам молодой женщины.

Несколько мгновений они хранили молчание. Бедная мать соображала, как бы помочь дочери, а Жюли не сводила взора с ее заплаканных глаз.

„Быть может,— думала мать Эвариста,— быть может, если я с ним поговорю, мне удастся его смягчить. Сердце у него доброе, нежное. Если бы политика не ожесточила его, если бы он не подпал под влияние якобинцев, у него не было бы этой суровости, пугающей меня, потому что я не понимаю ее“.

Она взяла в обе руки голову Жюли.

— Послушай, дочка. Я поговорю с Эваристом. Я подготовлю его к встрече с тобой. А то, неожиданно увидав тебя, он может прийти в ярость... Я боюсь его первого движения... И потом, я ведь знаю твоего брата: этот наряд неприятно поразил бы его; он строго относится ко всему, что касается нравов и приличий. Я сама была немного удивлена, увидав мою Жюли в мужском костюме.

— Ах, мама, эмиграция и ужасные потрясения в королевстве сделали переодевания вещь совсем обычной. На это идешь, чтобы заняться ремеслом, чтобы не быть узнанной, чтобы иметь возможность жить по чужому паспорту или свидетельству о благонадежности. В Лондоне я видела молодого Жире, переодетого в женское платье: он выглядел прехорошенькой девушкой, но согласись, мама, что такой маскарад гораздо неприличнее моего.

— Дитя мое дорогое, тебе незачем оправдываться передо мной ни в этом, ни в чем-либо другом. Я — твоя мать: для меня ты всегда будешь чистой. Я поговорю с Эваристом, я скажу ему...

Она не закончила фразы. Она догадывалась, что такое ее сын; догадывалась, но не хотела верить, не хотела знать.

— У него доброе сердце. Он сделает для меня... для тебя все, о чем я его попрошу.

И обе женщины, бесконечно уставшие, замолчали. Жюли уснула, положив голову на те самые колени, на которых она засыпала ребенком. Убитая горем мать, перебирая четки, плакала в предчувствии несчастий, неслышно подступавших в тишине этого снежного дня, тишине, когда безмолвовало все: шаги, колеса, самое небо.

Вдруг своим чутким слухом, еще обостренным беспокойством, она расслышала, что ее сын подымается по лестнице.

— Эварист! — шепнула она. — Спрячься.

И втокнула дочь к себе в спальню.

— Как вы себя чувствуете сегодня, мамочка?

Эварист повесил шляпу на вешалку, снял с себя голубой фрак и, надев рабочую блузу, уселся перед мольбертом. Уже несколько дней он набрасывал углем фигуру Победы, возлагающей венок на голову солдата, умершего за родину. Он с энтузиазмом отдался бы этой работе, но Трибунал отнимал у него все время, поглощал его целиком. Его рука, отвыкшая рисовать, двигалась медленно и лениво.

Он стал напевать „Са ira“.

— Ты поешь, дитя мое,— сказала гражданка Гамлен,— ты в веселом настроении.

— Как же не радоваться, мама: получены хорошие вести. Ван-дея раздавлена, австрийцы разбиты; Рейнская армия прорвала линию неприятельских укреплений в Лаутерне и Висембурге. Близок день, когда победившая республика проявит свое милосердие. Но почему дерзость заговорщиков растет по мере укрепления сил республики и почему изменники изощряются в тайных кознях против родины в то время, когда она поражает врагов, открыто нападающих на нее?

Гражданка Гамлен, продолжая вязать чулок, наблюдала за сыном поверх очков.

— Твой старый натурщик, Берделиус, приходил за десятью либрами, которые ты остался ему должен. Я отдала ему деньги. У малютки Жозефины были сильные колики в животе: она объелась вареньем, которым ее угостил столяр. Я приготовила ей микстуру... Заходил Демай. Он сожалел, что не застал тебя, и говорил, что с удовольствием взялся бы выгравировать один из твоих рисунков. Он находит, что у тебя большой талант. Этот славный малый рассматривал твои наброски и восхищался.

— Когда мы заключим мир и уничтожим всех заговорщиков,— сказал художник,— я снова примусь за Ореста. Я не люблю хвастать: но это голова, достойная Давида.

Величественной линией он наметил руку своей Победы.

— Она протягивает пальмовые ветви,— сказал он.— Но было бы лучше, если бы самые руки ее были пальмовыми ветвями.

— Эварист!

— Что, мама?

— Я получила известия... угадай от кого...

— Не знаю.

— От Жюли... от твоей сестры... Ей живется совсем несладко.

— Было бы возмутительно, если бы ей жилось хорошо.

— Не говори так, дитя мое: она твоя сестра. Жюли неплохой человек. Она способна на добрые чувства, а несчастье еще взрастило их. Она тебя любит. Могу тебя уверить, Эварист, что она стремится зажить честной, трудовой жизнью и только о том и думает, как бы опять сблизиться с нами. Почему бы тебе не повидаться с нею? Она вышла замуж за Фортуне Шассаня.

— Она писала вам?

— Нет.

— Как же вы получили известия от нее?

— Я узнала это не из письма, дитя мое; я...

Он поднялся и прервал ее голосом, от которого ей стало страшно.

— Замолчите, мама! Не говорите мне, что они оба вернулись во Францию... Раз они должны погибнуть, пускай это произойдет без моего участия. Ради них, ради себя, ради меня, сделайте так, чтобы я не знал, что они в Париже... Не открывайте мне глаз на то, чего я не желаю видеть, или...

— Что ты хочешь этим сказать, дитя мое? Ты мог бы, ты дерзнул бы?..


— Мама, выслушайте меня: если бы я знал, что моя сестра Жюли находится в этой комнате (он показал пальцем на запертую дверь), я немедленно пошел бы заявить об этом в Наблюдательный комитет секции.

Бедная мать, лицо которой стало белым, как ее чепец, выронила вязанье из дрожащих рук и еле слышно прошептала:

— Я не хотела верить, но теперь вижу сама: это — чудовище...

Не менее бледный, чем она, Эварист, с пеной у рта, выскочил из комнаты и побежал к Элоди, чтобы найти в ее объятиях забвенье, сон, восхитительное предвкушение небытия.

XIX

ока отца Лонгмара и девицу Атенаис допрашивали в секции, Бротто под конвоем двух жандармов препроводили в Люксембург; но привратник отказался впустить их, заявив, что у него нет больше мест. Старого откупщика доставили в Консьержери и ввели в канцелярию, маленькую комнату, разделенную на две части перегородкой со стеклянной дверью. Пока письмоводитель вносил его имя в реестр арестованных, Бротто успел рассмотреть за стеклом двух человек, лежавших на дрянных матрацах; они сохраняли мертвенную неподвижность и, устремив глаза в одну точку, казалось, ничего не видели. Тарелки, бутылки,

остатки хлеба и мяса валялись вокруг них на полу. Это были приговоренные к казни, ожидавшие телеги.

Бывшего дворянина дез-Илетта отвели в подземную темницу, где при свете фонаря он разглядел две простертые на полу фигуры: у одного из арестантов было свирепое, изуродованное отвратительными рубцами лицо, у другого привлекательное и кроткое. Оба заключенных уступили ему немного прогнившей, кишевшей насекомыми соломы, чтобы ему не пришлось ложиться на голую землю, загаженную испражнениями. Бротто опустился на скамью, охваченный со всех сторон зловонным мраком, и, прислонив голову к стене, сидел, не двигаясь, не говоря ни слова. Это было так мучительно, что, будь у него достаточно сил, он разможил бы себе голову о стену. Он не мог дышать. Глаза заволкли туманом; протяжный шум, спокойный, как безмолвие, наполнил ему уши, он почувствовал, что все его существо погружается в сладостное небытие. В течение одного ни с чем не сравнимого мгновения все вокруг него стало гармонией, прозрачной ясностью, благоуханием, сладостью. Затем он перестал существовать.

Когда он снова пришел в себя, первым его душевным движением была горестная мысль о том, что обморок кончился: оставаясь философом даже в минуты самого страшного отчаяния, он подумал, что ему надо было спуститься в каменный мешок и ждать гильотины, чтобы пережить острее наслаждение, на какое когда-либо были способны его чувства. Он попытался снова впасть в обморочное состояние, но это ему не удавалось; наоборот, он чувствовал, как мало-помалу зараженный воздух, проникая ему в легкие, вместе с ощущением жизненного тепла возвращает ему сознание невыносимой действительности.

Между тем оба соседа приняли его молчание за жестокое оскорбление. Бротто, человек общительный, постарался удовлетворить их любопытство, но, узнав, что он один из тех, кого называли „политическими“, то есть человек, все преступление которого выразилось только в слове или образе мыслей, они сразу утратили к нему всякое уважение и симпатию. Им обоим вменялись в вину более тяжкие деяния: старший из них был убийца, другой занимался поддельванием ассигнаций. Оба они освоились со своим положением и даже находили в нем какое-то удовлетворение. Бротто вдруг вспомнил, что у него над головой живет и движется шумная, залитая

светом улица, что хорошенькие продавщицы Пале-Рояля улыбаются за своими прилавками с парфюмерией и галантереей свободному, счастливому прохожему, и эта мысль еще усилила его отчаяние.

Наступила ночь, незаметная во мраке и молчании темницы, но тем не менее гнетущая и зловещая. Протянув одну ногу на скамейку и прислонившись спиной к стене, Бротто уснул. Ему приснилось, что он сидит у подножия густолиственного бука, в ветвях которого поют птицы; заходящее солнце покрывает поверхность реки жидким пламенем, а края облаков окрашены пурпуром. Ночь прошла. Он горел в мучительной лихорадке и жаднопил прямо из кувшина воду, от которой его недуг только усиливался.

На следующее утро тюремщик, принесший похлебку, предложил Бротто перевести его за известное вознаграждение в другое помещение, где заключенные содержались за свой собственный счет; он обещал сделать это, как только освободится место, чего, по его словам, придется ждать недолго. Действительно, через день он велел старому откупщику выйти из камеры. С каждой ступенькой, на которую он поднимался, Бротто чувствовал, как к нему возвращаются силы и жизнь, а когда на кирпичном полу комнаты, куда его ввели, он увидел перед собою складную койку, прикрытую плохоньким шерстяным одеялом, он заплакал от радости. Раззолоченная кровать с целующимися голубками, которую он некогда заказал для красивой из танцовщиц Оперы, менее радовала его взор и не сулила стольких наслаждений.

Койка помещалась в большой, довольно опрятной зале, где находилось еще семнадцать таких же коек, отгороженных одна от другой высокими переборками. Новые соседи, в большинстве своем бывшие дворяне, торговцы, банкиры и ремесленники, пришлось по вкусу старому откупщику, который умел уживаться со всякого рода людьми. Он заметил, что эти несчастные, подобно ему лишенные всяких развлечений и осужденные погибнуть от руки палача, проявляли веселость и большую склонность к шуткам. Не слишком расположенный восхищаться людьми, он объяснял хорошее настроение своих товарищей их легкомыслием, которое мешало им призадуматься как следует над собственной участью. Он утвердился в этом мнении, увидав, что наиболее умные из них были глубоко печальны. Вскоре он обнаружил, что большинство его соседей черпало бодрость в вине и в водке, сообщавших их веселью неистовый и без-

рассудный характер. Не все они обладали мужеством, но все старались выказывать его. Бротто нисколько не был удивлен этим: ему было известно, что мужчины охотно сознаются в жестокости, в гневе, даже в скупости, но в трусости — никогда, так как подобное признание подвергло бы их смертельной опасности не только среди дикарей, но и в цивилизованном обществе. Именно поэтому, думал он, все народы — народы героические и все армии состоят из одних храбрцев.

Еще сильнее, чем вино и водка, действовали на заключенных, одних повергая в грусть, других доводя до бреда и иступления, лязг оружия, звяканье ключей, скрежет замков, оклики часовых, топот ног у дверей Трибунала. Некоторые перерезывали себе горло бритвой или выбрасывались из окна.

На четвертый день после перевода в новое помещение Бротто узнал от тюремного сторожа, что отец Лонгмар томится на гнилой, кишасей насекомыми соломе, в обществе воров и убийц. Тогда он настоял на том, чтобы Лонгмара перевели в ту же камеру, где жил он, на только что освободившуюся койку. Обязавшись платить за содержание монаха, старый откупщик, у которого денег было в обрез, принялся рисовать портреты по эскизу за штуку. Он раздобыл через тюремщика маленькие черные рамочки и вставлял в них миниатюрные изделия из волос, которые он мастерил довольно искусно. Среди людей, желавших оставить своим близким что-нибудь на память о себе, эти вещицы пользовались большим успехом.

Отец Лонгмар держался мужественно и стойко. В ожидании часа, когда ему надо будет предстать перед Революционным трибуналом, он готовился к защите. Не отделяя своего личного дела от дела церкви, он давал себе слово растолковать судьям беспорядки и соблазны, жертвой которых пала невеста Христова в результате гражданского устройства духовенства. Он намеревался изобразить старшую дочь церкви святотатственно ополчившеюся против папы; французских священников — лишенными последнего достоинства, оскорбляемыми, поставленными в гнусную зависимость от мирян; монахов, подлинное воинство Христова, — ограбленными и рассеянными по лицу земли. Он цитировал Григория Великого и святого Иринея, приводил множество ссылок из кодекса канонического права и целые параграфы декреталий.

Весь день, сидя у подножия кровати, он что-то торопливо на-

брасывал у себя на коленях, макал огрызки перьев в чернила, в сажу, в кофейную гущу, покрывая мельчайшим почерком бумагу из-под свечей, оберточную, газеты, титульные листы, старые письма, старые счета, игральные карты, и даже намеревался использовать для этого свою сорочку, предварительно накрахмалив ее. Он испивал лист за листом и, показывая на неразборчивую мазню, говорил:

— Когда я предстану перед судьями, я ослеплю их светом истины.

Однажды, окинув довольным взором свою неудержимо растущую защитительную речь и думая о судьбах, которых ему не терпелось пристыдить, он воскликнул:

— Не хотел бы я быть на их месте!

Заключенные, которых судьба свела вместе в этой камере, были либо роялистами, либо федералистами; среди них затесался даже один якобинец. Они придерживались различных мнений насчет системы государственного управления, но ни у кого из них не сохранилось и следа христианских верований. Фельяны, конституционалисты, жирондисты находили, подобно Бротто, что бог им ни к чему, но что он необходим для народа. Якобинцы ставили на место Иеговы якобинского бога для того, чтобы вознести самое якобинство на недостижимую высоту; но поскольку ни те, ни другие не могли допустить, что есть наивные люди, способные верить в какие бы то ни было религиозные откровения, постольку они, видя, что отец Лонгмар вовсе не глуп, считали его плутом. А так как он, желая, должно быть, подготовиться к мученическому венцу, исповедывал свою веру перед первым встречным,—чем с большей искренностью он это делал, тем больше товарищи по заключению склонны были принимать его за обманщика.

Напрасно Бротто ручался, что монах—человек честный и убежденный; считали, что и сам Бротто только отчасти верит тому, что говорит. Его идеи были слишком своеобразны, чтобы казаться искренними, и никого не удовлетворяли вполне. Он отзывался о Жан-Жаке как о пошлом мошеннике. Напротив, Вольтера боготворил, хотя все же не ставил на одну доску с любезным его сердцу Гельвецием, с Дидро или бароном Гольбахом. По его мнению, величайшим гением последнего столетия был Буаэжж. Он также очень уважал астронома Лаланда и Дюпон, автора „Трактата о происхождении созвездий“. Присяжные шутники вслестски издева-

лись над бедным варнавитом, но он не замечал ничего: его прекраснотушие разрушало все козни.

Стараясь отогнать мысли, не дававшие им покоя, и не страдать от безделья, заключенные играли в шашки, в карты и в триктрак. Иметь при себе музыкальные инструменты было запрещено. После ужина все пели хором или читали стихи. „Орлеанская девственница“ Вольтера вносила некоторое веселье в сердца этих несчастных, и они с удовольствием выслушивали по несколько раз наиболее удачные места. Но так как им не удавалось окончательно избавиться от гнетущей мысли, гнездившейся у них в сердце, они иногда старались превратить ее в развлечение, и в камере, где помещалось восемнадцать коек, играли перед сном в Революционный трибунал. Роли распределялись в соответствии с наклонностями и способностями каждого. Одни представляли судей и обвинителя, другие — обвиняемых или свидетелей, остальные — палача и его помощников. Все процессы неизменно заканчивались казнью осужденных, которых укладывали на койке, опуская им на шею доску. Затем действие переносилось в ад. Наиболее искусные актеры, завернувшись в простыни, изображали духов. Молодой адвокат из Бордо, по фамилии Дюбоск, маленький, черный, косой, горбатый, кривоногий, воплощенный хромой бес, подходил, устроив себе рога, к отцу Лонгмару, стаскивал его за ноги с койки и объявлял ему, что он осужден на вечные муки за то, что сделал из творца вселенной существо завистливое, глупое и злое, врага веселья и любви.

— А-а-а! — надрывался чудовищным криком чорт, — ты учил, старый бонза, что богу нравится, когда его создания изнуряют себя постом и молитвой, воздерживаясь от самых лучших его даров. Обманщик, лицемер, ханжа, сиди на гвоздях и питайся до скончания века яичной скорлупой!

Отец Лонгмар ограничивался репликой, что в этой речи из-под личины дьявола выглядывает философ и что самый ничтожный из духов ада никогда не наговорил бы столько глупостей, так как набрался кое-каких сведений в богословии и уж, конечно, менее невежественен, чем энциклопедист.

Но когда адвокат-жирондист называл его капудином, он выходил из себя и уверял, что человек, неспособный отличить варнавита от францисканца, не заметит и мухи в молоке.

Революционный трибунал разгружал тюрьмы, которые комитеты

беспреданно наполняли: за три месяца камера восемнадцати наполовину обновилась. Отец Лонгмар лишился своего бесенка. Адвокат Дюбск, представший перед Революционным трибуналом, был приговорен к смерти как федералист и как участник заговора против единства республики. Выйдя из Трибунала, он, как и все осужденные, проходил коридором, тянувшимся из одного конца тюрьмы в другой и куда открывалась дверь той самой камеры, которую он в течение трех месяцев оживлял своей веселостью. Прощаясь с товарищами, он сохранял свой обычный легкомысленный тон и жизне-радостный вид.

— Простите, сударь,— обратился он к отцу Лонгмару,— за то, что я стаскивал вас за ноги с постели. Больше не буду.

И, повернувшись к старику Бротто, произнес:

— Прощайте, я раньше вас погружаюсь в небытие. Я охотно возвращаю природе элементы, составляющие меня, и желаю, чтобы в будущем она лучше использовала их, так как, надо сознаться, я совсем не удался ей.

Он спустился в канделярию; Бротто был подавлен, а отец Лонгмар задрожал и позеленел, как лист: монах перепугался насмерть, видя, что нечестивец смеется и на краю бездны.

Когда с жерминалем вернулись ясные дни, Бротто, по натуре человек чувственный, по нескольку раз на день спускался во двор, куда выходили окна женского корпуса, к водоему, где узницы по утрам стирали белье. Двор был перегорожен пополам решеткой, но не настолько частой, чтобы руки не могли обменяться пожатьем и губы слиться в поцелуе. Под покровом снисходительной ночи к решетке приникали пары. В таких случаях Бротто скромно отходил к лестнице и, усевшись на ступеньке, доставал из кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция. При свете фонаря он прочитывал несколько сурово-утешительных изречений: „Sic ubi non erimus... Когда мы перестанем существовать, ничто уже не будет в состоянии волновать нас, даже небо, земля и море, смешавшие воедино все, что от них осталось...“ Но, упиваясь этой высокой мудростью, Бротто все же завидовал безумию варнавита, скрывавшему от него вселенную.

Террор усиливался с каждым месяцем. Ежегодно пьяные тюремщики, обходя со своими сторожевыми псами камеры, разносили обвинительные акты, выкрикивали хриплым голосом имена и фамилии,

коверкая их, будили заключенных и, из-за двадцати намеченных жертв, повергали в смертельный ужас двести человек. По коридорам, полным кровавых теней, каждый день проходили без единой жалобы двадцать, тридцать, пятьдесят осужденных: стариков, женщин, юношей, столь различных по общественному положению, характеру, убеждениям, что невольно возникал вопрос, не по жребии ли их отобрали.

А узники продолжали играть в карты, пить бургундское, строить всякие планы, ходить по ночам на свидания к решетке. Население тюрьмы, почти целиком обновившееся, состояло теперь, главным образом, из „фанатиков“ и „бешеных“. Тем не менее камера восемнадцати все еще служила приютом изысканного обращения и хорошего тона и сохраняла свой прежний облик: за исключением двух арестантов, граждан Наветта и Белье, недавно переведенных из Люксембурга в Консьержери и подозреваемых в том, что они „бараны“, то есть шпионы, все остальные были люди порядочные, относившиеся друг к другу с доверием. В этой камере праздновали с бокалами в руках военные успехи республики. Там нашлось и несколько поэтов, которых всегда можно встретить в обществе ничем не занятых людей. Наиболее искусные сочиняли оды в честь победоносной Рейнской армии и с пафосом декламировали их. Им шумно рукоплескали. Один лишь Бротто весьма умеренно похваливал и победителей и их певцов.

— Еще со времени Гомера,— заметил он однажды,— среди поэтов наблюдается странная мания воспевать воинов. Война — не искусство, и только случай решает судьбу сражения. Из двух одинаково глупых полководцев, действующих друг против друга, один неизбежно должен оказаться победителем. Будьте готовы к тому, что рано или поздно какой-нибудь из этих солдафонов, которых вы обожевляете, проглотит вас всех, как в басне журавль глотает лягушек. Тогда-то он в самом деле станет богом. Ибо боги познаются по их аппетиту. .

Бротто никогда не трогала слава оружия. Он несколько не радовался победам республики, которые еще раньше предвидел. Ему не нравился политический строй, укреплявшийся с каждой новой победой. Он был недоволен. Оснований к этому было больше чем достаточно.

Однажды утром заключенным сообщили, что комиссары Коми-

тега общественной безопасности произведут у них обыск, причем будут отображены ассигнации, золотые и серебряные вещи, ножи, ножницы; что такие обыски уже были произведены в Люксембурге и что там забрали письма, бумаги, книги.

Каждый постарался найти укромное местечко и спрятать туда то, что ему было дороже всего. Отец Лонгмар охапками снес свою защитительную речь к водосточной трубе и засунул ее в жолоб. Бротто зарыл своего Лукреция в пепел камина.

Когда комиссары с трехцветными лентами на шее явились для обыска, они нашли лишь то, что заключенные сочли нужным оставить для них. После их ухода отец Лонгмар кинулся к жолобу и подобрал остатки защитительной речи, сильно пострадавшей от ветра и воды. Бротто вытащил из камина своего Лукреция, черного от сажи.

„Будем наслаждаться настоящим часом,— решил он,— так как по некоторым признакам я вижу, что времени в нашем распоряжении уже очень мало“.

В теплую прерияльскую ночь, когда над тюремным двором в полбедневшем небе сверкал серебром двурогий месяц, старый откупщик сидел на ступеньке каменной лестницы, перечитывая, по обыкновению, Лукреция, как вдруг его окликнул женский голос, очаровательный голос, показавшийся ему совсем неизвестным. Бротто спустился во двор, и увидел за решеткой женскую фигуру: он не узнал ее, так же как и голоса, но по изящным и неясным очертаниям она напоминала ему всех женщин, которых он любил. Лунный свет заливал ее лазурью и серебром. Вдруг Бротто узнал миловидную актрису с улицы Фейдо, Розу Тевенен.

— Вы, дитя мое? Какая жестокая радость — видеть вас здесь! Давно ли и почему вы находитесь тут?

— Со вчерашнего дня.

Она прибавила шопотом:

— На меня донесли как на роялистку. Меня обвиняют в том, что я принимала участие в заговоре, имевшем целью освободить королеву. Зная, что вы здесь, я сразу постаралась отыскать вас. Выслушайте меня, мой друг... вы ведь не возражаете против того, чтобы я называла вас так? У меня есть знакомства среди людей с положением... Я пользуюсь, мне это известно, симпатиями повсюду, вплоть до Комитета общественного спасения. Я заставлю хлопотать моих друзей: они освободят меня, а я, в свою очередь, освобожу вас.



Но Бротто голосом, в котором звучала настойчивая мольба, стал отговаривать ее:

— Во имя всего, что вам дорого, дитя мое, не предпринимайте ничего! Не пишите никому, не ходатайствуйте ни перед кем! Заклинаю вас, ни о чем никого не просите, пускай о вас забудут совсем.

Так как она, повидимому, не сознавала важности его слов, он принялся умолять ее еще сильнее:

— Храните молчание, Роза, пускай вас забудут: в этом — спасение. Все, что попытались бы сделать ваши друзья, только ускорило бы вашу гибель. Старайтесь выиграть время. Теперь уже остается ждать немного, надеюсь, совсем немного... Но, главное, откажитесь от мысли разжалобить судей, присяжных, какого-нибудь Гамлена. Это не люди, это — неодушевленные предметы, а с неодушевленными предметами бесцельно вступать в объяснения. Пускай о вас забудут. Если вы последуете моему совету, друг мой, я умру, счастливый тем, что спас вам жизнь.

— Я послушаюсь вас,— ответила она.— Не говорите о смерти. Он пожал плечами:

— Моя жизнь кончена, дитя мое. А вы живите и будьте счастливы.

Она взяла его руки и прижала их к груди:

— Выслушайте меня, друг мой... Я видела вас только в течение одного дня, и все-таки вы мне не безразличны. И если то, что я вам скажу, может хоть немного привязать вас к жизни,— знайте: я буду для вас всем... чем вы пожелаете.

И, прильнув к решетке, они поцеловались.

XX

Во время одного из продолжительных заседаний Трибунала Эварист, сидя на судейской скамье в душном воздухе, размышляет, закрыв глаза:

„Злоден, заставившие Марата прятаться по темным углам, превратили его в ночную птицу, птицу Минервы, чье око настагало заговорщиков и во мраке. Теперь холодный и спокойный взор голубых глаз видит насквозь врагов республики и разоблачает

изменников с пронзительностью, которой не знал даже Друг Народа, уснувший навеки в саду Кордельеров. Новый спаситель, не менее ревностный, но еще более прозорливый, чем первый, замечает то, чего никто не замечает, и его поднятый перст сеет вокруг ужас. Он различает мельчайшие, неуловимые оттенки, отделяющие зло от добра, порок от добродетели; не будь его, их бы смешивали в ущерб отечеству и свободе; он проводит тонкую, прямую черту, вне которой направо и налево только заблуждение, преступление и злодейство. Пеподкупный разъясняет, как служат внешнему врагу те, которые впадают в крайности или обнаруживают чрезмерную слабость; те, кто преследует религиозные культы во имя разума, и те, кто во имя религии оказывает сопротивление законам республики. Не в меньшей степени, чем негодяи, убившие Ле-Пельтье и Марата, служат внешнему врагу те, кто воздает им божеские почести, с целью набросить тень на их память.

„Агентом заграницы является всякий, кто не признает для себя обязательными идей порядка, благоразумия и своевременных мероприятий; агентом заграницы является и тот, кто бросает вызов правам, оскорбляет добродетель и в своей чудовищной разнузданности отрицает бога. Фанатики-священники заслуживают смерти; но есть и контрреволюционный способ борьбы с фанатизмом; в иных случаях отречение бывает преступным. Человек умеренный губит республику, неистовый тоже губит ее.

„О страшные обязанности судьбы, указанные мудрейшим из людей! Уже надо поражать не одних только аристократов, федералистов, злодеев-орлеанистов, этих явных врагов отечества: Заговорщик, агент заграницы — Протей, принимающий всевозможные личины. Он прикидывается патриотом, революционером, врагом королей; он уверяет, будто его сердце бьется для одной лишь свободы; он возвышает голос и повергает в трепет врагов республики: это — Дантон; его неистовые выступления плохо прикрывают его гнусную умеренность, и, в конце концов, всем становится ясной его продажность. Заговорщик, агент заграницы, — это тот красноречивый заика, который первым прикрепил к своей шляпе революционную кокарду; это тот памфлетист, который с жестокой иронией примерного гражданина называл себя „прокурором фонаря“: это — Камиль Демулен. Он выдал себя, защищая изменников-генералов и настаивая на совершенно неуместном милосердии при назначении

кары. Это — Филиппо, это — Геро, это — презренный Лакруа. Заговорщик, агент заграницы,— это отец Дюшен, унижающий свободу своей подлой демагогией, Дюшен, чья отвратительная клевета внушила многим сочувствие даже к Антуанетте. Это Шометт: правда, стоя во главе Коммуны, он выказывал себя человеком кротким, доступным, умеренным, благожелательным и добродетельным, но он был атенстом. Заговорщики, агенты заграницы,— это все санкюлоты в красных колпаках, карманьолах, в деревянных башмаках, старавшиеся во что бы то ни стало перещегоолять якобинцев патриотизмом. Заговорщик, агент заграницы,— это Анахарсис Клоотс, защитник рода человеческого, осужденный на смерть монархиями всего мира: но от него можно было ожидать всего: ведь он пруссак.

„Теперь все эти злодеи, неистовые и умеренные, все эти изменники, Дантон, Демулен, Гебер, Шометт, погибли на плахе. Республика спасена; согласный хор похвал несется из всех комитетов, из всех народных собраний навстречу Максимилиану и Горе. Добрые граждане восклицают: „Достойные представители свободного народа, тщетно сыны Титанов подняли высокомерную главу: благодетельная Гора, покровитель Синай, из твоих кипящих недр изошла спасительная молния...“

„В этом хоре известная часть похвал приходится и на долю Трибунала. Как приятно быть добродетельным и как любезна сердцу неподкупного судьи признательность общества!

„Но, вместе с тем, может ли подлинный патриот не изумляться и не испытывать тревоги? Как! Значит, для того, чтобы предать интересы народа, было недостаточно Мирабо, Лафайета, Байи, Петиона, Бриссо? Понадобились, оказывается, еще и те, кто изобличали этих изменников. Как! Все эти люди, совершившие революцию, сделали это только для того, чтобы ее погубить? Эти великие вдохновители великих дней готовили, вкупе с Питгом и Кобургом, воцарение династии Орлеанов или опеку над Людовиком XVII? Как! Дантон это был Монк? Как! Шометт и гебертисты, еще более вероломные, чем федералисты, которых они отправили на гильотину, замыслили гибель государства? Но среди тех, кто толкает в объятия смерти вероломных Дантонов и вероломных Шометтов, не найдут ли завтра голубые глаза Робеспьера еще более вероломных? Где же оборвется пронизательность Неподкупного и омерзительная цепь предающих друг друга предателей?

Между тем Жюли Гамлен, в своем бутылочного цвета каррике, ежедневно отправлялась в Люксембургский сад и там, сидя на скамье в конце аллеи, поджидала минуту, когда ее любовник покажется в одном из слуховых окон дворца. Они обменивались знаками, разговаривая на немом языке, который сами изобрели. Таким путем ей стало известно, что заключенный помещается в довольно сносной камере, в приятной компании, что он нуждается в одеяле и в грелке и что он нежно любит свою подругу.

Не одна Жюли высматривала любимое лицо в окнах дворца, превращенного в тюрьму. Рядом с ней молодая мать не сводила взоров с одного окна, и, как только оно открывалось, она поднимала как можно выше младенца, которого держала на руках. Старая дама в кружевной вуали по целым часам неподвижно сидела на складном стуле, в тщетной надежде увидеть хотя бы на мгновение сына, который, чтобы не растрогаться при виде матери, занимался метанием диска на тюремном дворе до тех пор, пока не закрывали сада.

Во время этих долгих ожиданий, и в ясную и в дождливую погоду, на соседней с Жюли скамейке располагался пожилой, довольно полный, чрезвычайно опрятно одетый мужчина, то игравший брелоками и табакеркой, то разворачивавший газету, которую, однако, никогда не читал. Он был одет по старинной моде: треуголка, отделанная золотым галуном, красно-фиолетовый фрак и голубой вышитый серебром жилет. Он производил весьма почтенное впечатление. Судя по флейте, конец которой торчал у него из кармана, он был музыкантом. Ни на минуту не спускал он глаз с переодетого юноши, беспрестанно улыбался ему и, как только замечал, что тот собирается уходить, тоже поднимался и следовал за ним на расстоянии. Несчастную, одинокую Жюли трогало тайное сочувствие, которое проявлял к ней этот старик.

Однажды, когда она выходила из сада, незнакомец подошел к ней и, раскрыв свой огромный красный зонт, ибо накрапывал дождь, попросил разрешения укрыть ее от непогоды. Она тихо ответила своим ясным голосом, что согласна. Но, услышав этот голос и почувствовав, быть может, неуловимый запах женщины, он по-

спешно удалился, оставив Жюли мокнуть под проливным дождем; она поняла все и, хотя на душе у нее было невесело, не могла удержаться от улыбки.

Жюли жила в мансарде на улице Шерш-Миди и выдавала себя за приказчика-суконщика, ищущего места: вдова Гамлен, убедившись, наконец, что ее дочь нигде не подвергается такой опасности, как у нее в доме, постаралась поселить молодую женщину подальше от Тионвильской площади и от секции Нового Моста и помогала ей, по мере возможности, продуктами и бельем. Жюли готовила себе скромный обед, ходила в Люксембургский сад, чтобы взглянуть на своего возлюбленного, и возвращалась к себе в конуру; однообразие жизни немного усыпляло ее горе, и, так как она была молода и сильна, то всю ночь спала глубоким сном. Смелая по характеру, побывавшая во всяких переделках и, пожалуй, чувствовавшая себя свободнее благодаря своему мужскому костюму, она отправлялась иногда по вечерам к продавцу лимонада, торговавшему под вывеской „Красного Креста“ на улице Дюфур, где собирались всякие люди и женщины вольного поведения. Там она читала газеты и играла в триктрак с каким-нибудь сидельцем лавки или военным, пускавшим ей дым из трубки прямо в нос. В этом заведении пили, играли в карты, занимались любовью, и драки были там обычным явлением. Как-то вечером один из посетителей, услышав на улице конский топот, приподнял штору и, узнав начальника национальной гвардии, гражданина Анрио, проскакавшего галопом со своим штабом, процедил сквозь зубы:

— Робеспьеровский прихвостень!

При этих словах Жюли громко расхохоталась.

Но какой-то усатый патриот резко положил этому конец.

— Тот, кто позволяет себе подобные выражения,— гнусный аристократ, и я с удовольствием увижу, как его голова упадет в корзину к Самсону. Да будет всем известно, что генерал Анрио честный патриот, который сумеет в случае нужды защитить Париж и Конвент. Вот этого-то роялисты и не прощают ему.

И взглянув в упор на Жюли, продолжавшую заливаться смехом, усач прикрикнул на нее:

— Эй ты, молокосос! Смотри, как бы я не влил тебе такого пинка, который научит тебя относиться с уважением к патриотам.

Раздались возгласы:

— Анрио — пьяница и дурак!

— Анрио — честный якобинец! Да здравствует Анрио!

Образовались два лагеря. Завязалась драка, кулаки засверкали, продавливая шляпы, столы опрокинулись, стаканы разлетались вдребезги, лампы погасли, женщины принялись пронзительно визжать. Жюли, к которой подступило несколько патриотов, вооружилась скамейкой, но была сбита с ног и, защищаясь, стала царапаться и кусаться. Ее каррик распахнулся, и из разорванного жабо выглянула трепещущая грудь. На шум прибежал патруль, и молодая аристократка еле ускользнула из рук жандармов.

Каждый день переполненные телеги увозили осужденных.

— Не могу же я допустить, чтобы они казнили моего возлюбленного! — говорила Жюли матери.

Она решила ходатайствовать, хлопотать, пойти в комитеты, в канцелярии, к народным представителям, к судьям — всюду, куда только понадобится. У нее не было женского платья. Мать достала для нее у гражданки Блез полосатое платье, косынку, кружевной чепец, и Жюли в женском и патриотическом наряде отправилась к судье Ренодену, в сырой и мрачный дом на улице Мазарини.

Вся дрожа, поднялась она по деревянной, выложенной изразцами лестнице; судья принял ее в невзрачном кабинете, все убранство которого состояло из соснового стола и двух соломенных стульев. Обои ключьями висели на стенах. Реноден, с черными, слипшимися волосами, с угрюмым взглядом, с поджатыми губами и выступающим вперед подбородком, знаком предложил ей говорить и молча выслушал ее.

Она сказала, что она сестра гражданина Шассаня, заключенного в Люксембургскую тюрьму, изложила как могла искуснее обстоятельства, при которых он был арестован, изобразила его несчастной, ни в чем неповинной жертвой, проявила огромную настойчивость.

Он был равнодушен и непоколебим.

Заплакав, она с мольбой упала к его ногам.

Как только он увидел слезы, его лицо изменилось: красноваточерные глаза загорелись огнем, огромные синие челюсти задвигались, точно он хотел освежить слюной пересохшее горло.

— Гражданка, все необходимое будет сделано. Не беспокойтесь.

И распахнув дверь, он втолкнул просительницу в маленькую розовую, с расписанными простенками гостиную, где были фарфоровые

группы, золоченые стенные часы и канделябры, глубокие кресла, диван с гобеленом, изображавшим сцену из пастушеской жизни по рисунку Буше. Жюли была готова на все, лишь бы спасти своего любовника.

Реноден действовал грубо и быстро. Когда она поднялась, оправляя нарядное платье гражданки Элоди, ее взгляд встретился с его жестоким и насмешливым взглядом; она тотчас же почувствовала, что принесла бесполезную жертву.

— Вы обещали мне освободить брата,— сказала она.

Он усмехнулся.

— Я сказал тебе, гражданка, что все необходимое будет сделано, то есть что с твоим братом поступят по закону, ни больше, ни меньше. Я сказал тебе, чтобы ты не беспокоилась, и чего тебе беспокоиться? Революционный трибунал всегда справедлив.

Ей хотелось кинуться на него, искусать его, выпарашать ему глаза. Но сознавая, что этим она окончательно погубила бы Фортюне Шассаня, она стремительно вышла из комнаты и, поспешно вернувшись к себе в мансарду, сбросила оскверненное платье Элоди. И всю ночь напролет она проплакала от ярости и горя.

На другое утро, придя в Люксембург, она увидела, что сад занят жандармами, выгоняющими оттуда женщин и детей. Часовые, расставленные в аллеях, не позволяли прохожим переговариваться с заключенными. Молодая мать, приходившая каждый день с ребенком на руках, сообщила Жюли, будто посятся слухи о заговоре в тюрьмах и будто женщин обвиняют в том, что они собирались в саду с целью вызвать в народе движение в пользу аристократов и изменников.

XXII

Внезапно в Тюильрийском саду выросла гора. Небо безоблачно. Максимилиан в голубом фраке и желтых панталонах, с букетом колосьев, васильков и маков в руке, шествует впереди своих товарищей. Он всходит на гору и возвещает умиленной республике бога Жан-Жака. О чистота! О кротость! О вера! О античная простота! О слезы сострадания! О благодатная роса! О милосердие! О братское единение людей!

Тщетно подымает еще свой омерзительный лик безбожие: Максимилиан хватает факел; пламя пожирает чудовище, и на смену ему является мудрость, одной рукой указуя на небо, а другой держа венец из звезд.

На помосте, возведенном напротив Тюильрийского дворца, Эварист, среди растроганной толпы, проливает слезы радости и благодарит бога. Он видит, что наступает эра блаженства.

Он вздыхает:

— Наконец-то мы будем счастливы, чисты и невинны, если только злодеи не станут нам поперек пути.

Увы, злодеи стали поперек пути. Нужны еще казни; нужно еще проливать потоками нечистую кровь. Три дня спустя после празднования нового союза и примирения неба с землей Конвент издает прериальский закон, отменяющий с чудовищным благодушием все обычные законные формы, все, что еще со времени справедливых римлян было придумано для защиты заподозренной невинности. Отныне нет ни следствия, ни допросов, ни свидетелей, ни защитников: любовь к отечеству заменяет все. Обвиняемый, хороня у себя в груди свое преступление или свою невинность, молча проходит мимо судьи-патриота. И за это время нужно разобраться в его деле, порою сложном, нередко запутанном и темном. Как теперь судить? Как отличить в одно мгновение честного человека от злодея, патриота от врага родины?

После минутного замешательства Гамлен понял, в чем состоит отныне его долг, и приспособился к своим новым обязанностям. Он видел в сокращении процедуры истинное воплощение того спасительного и грозного правосудия, исполнителями которого являются не ученые буквоеды, неторопливо взвешивающие на своих устарелых весах все доводы за и против, но санкюлоты, руководствующиеся патриотическим озарением и постигающие истину в мгновение ока. Между тем как защита и меры предосторожности погубили бы все, порывы честного сердца все спасают. Надлежало следовать внушениям природы, этой доброй матери, которая никогда не ошибается; надо было судить сердцем, и Гамлен взывал к тени Жан-Жака: „Вдохнови меня, добродетельный муж, на любовь к людям и на ревностное служение делу их возрождения!“

Большинство его товарищей испытывало то же, что и он. Это были по преимуществу люди простые, и, когда процессуальные



формы упростились, они почувствовали себя превосходно. Сокращенное судопроизводство удовлетворяло их. Его ускоренный темп не смущал их. Они осведомлялись только об убеждениях обвиняемых, не допуская, что можно, не будучи злодеем, мыслить иначе, чем они. Так как они полагали, что обладают истиной, мудростью, высшим благом, то приписывали своим противникам заблуждения и зло. Они чувствовали себя сильными: они воочию зрели бога.

Они воочию зрели бога, эти присяжные Революционного трибунала. Верховное существо, признанное Максимилианом, пламенем спускалось на них. Они любили, они веровали.

Кресло подсудимого заменили большим помостом, на котором могло поместиться пятьдесят человек: теперь судили только целыми партиями. Общественный обвинитель соединял в одно дело и обвинял, как сообщников, людей, которые нередко встречались в первый раз в Трибунале. С ужасающей легкостью, на которую ему давал право прерикальский закон, Трибунал разбирая дела о мнимых тюремных заговорах, следовавших по времени за осуждением дантонистов и Коммуны и пристегнутых к ним путем всевозможных ухищрений изворотливой мысли. Чтобы констатировать в них оба существенных признака организованного на заграничное золото заговора против республики — неуместную умеренность и нарочитую крайность, — чтобы видеть в них, кроме того, преступление дантонистов и преступление гебертистов, во главе их поставили еще двух обвиняемых, двух совершенно разных женщин: вдову Камилля, очаровательную Люсиль, и вдову гебертиста Моморо, однодневную богиню и веселую болтушку. Обоих ради симметрии заключили в одну и ту же тюрьму, где они вместе плакали на одной и той же каменной скамье; обоих ради симметрии отправили на эшафот. Это было слишком остроумным символом, шедевром равновесия, измышленным, вероятно, какой-нибудь прокурорской душой, но честь этого изобретения приписывали Максимилиану. Этому представителю народа приписывали все события, счастливые или несчастные, происходившие в стране, — законы, нравы, смену времен года, урожаи, эпидемии. И это было заслуженной несправедливостью, ибо щуплый, невзрачный, чистенький человек с кошачьим лицом имел неограниченную власть над народом...

В этот день Трибунал отправлял на тот свет участников большого тюремного заговора, около трех десятков заговорщиков из Лю-

ксембурга, чрезвычайно смиренных заключенных, но заведомых роялистов и федералистов. Обвинение целиком покоилось на показаниях единственного доносчика. Присяжные совершенно не были знакомы с делом: они не знали даже фамилий заговорщиков. Гамлен, скользнув взором по скамье подсудимых, увидел среди них Фортюне Шассаня. Любовник Жюли, исхудавший за время долгого заключения, бледный, с чертами лица, казавшимися резче из-за яркого освещения судебного зала, сохранил еще частицу присущего ему изящества и гордости. Взор его встретился со взором Гамлена и загорелся презрением.

Гамлен поднялся, охваченный холодной яростью, попросил слова и, устремив глаза на бюст древнего Брута, высившийся над головами судей, произнес:

— Гражданин председатель, хотя между одним из подсудимых и мною существуют узы, которые, носи они гласный характер, могли бы быть сочтены узами родства, тем не менее я не ходатайствую об отводе. Оба Брута не требовали для себя отвода, когда ради спасения республики или ради дела свободы им пришлось осудить сына, поразить насмерть приемного отца.

Он снова уселся на свое место.

— Какой отъявленный злодей! — процедил сквозь зубы Шассань.

Публика осталась равнодушной к выступлению присяжного, то ли потому, что всем уже надоели возвышенные характеры, то ли потому, что Гамлен слишком легко одержал верх над естественными чувствами.

— Гражданин Гамлен, — сказал председатель, — по точному смыслу закона, всякий отвод должен быть заявлен в письменной форме за сутки до начала прений. Но тебе и незачем было делать это: патриот-присяжный выше всех страстей.

Допрос каждого подсудимого продолжался не больше трех-четырех минут. Обвинитель требовал смертной казни для всех. Присяжные высказались за нее единогласно, односложной репликой или просто кивком головы. Когда дошла очередь до Гамлена, он произнес:

— Все подсудимые сознались в преступлениях, а закон не допускает никаких толкований.

Когда он спускался по лестнице суда, его остановил юноша лет семнадцати-восемнадцати, одетый в каррик бутылочного цвета. На нем была круглая, сдвинутая на затылок шляпа, поля которой образовали черный ореол вокруг его прекрасного бледного лица. За-

городив присяжному дорогу, он крикнул ему голосом, полным ужаса и отчаяния:

— Злодей! Изверг! Убийца! Рази и меня, негодяй. Я — женщина! Прикажи меня арестовать и гильотинировать, Каин! Я — твоя сестра.

И Жюли плюнула ему в лицо.

Толпа „вязальщиц“ и санкюлотов к тому времени уже не отличалась прежней революционной бдительностью: их патриотический пыл поостыл. Вокруг Гамлена и его обидчика произошло лишь нерешительное движение. Жюли протиснулась сквозь кучку любопытных и исчезла в сумерках.

XXIII

Эварист Гамлен был утомлен и никак не мог отдохнуть: ночью он раз двадцать внезапно просыпался, преследуемый кошмарами. Только в голубой комнате, в объятиях Элоди, ему удавалось заснуть на несколько часов. Во сне он разговаривал, кричал и будил ее, но она не понимала его слов.

Однажды утром, после того как ночью ему приснились Евмениды, он пробудился, измученный страшными видениями и слабый, как ребенок. Бледные стрелы зари уже пронизывали оконные занавеси. Волосы Эвариста, спутавшиеся на лбу, черной дымкой застилала ему глаза: Элоди, сидя у изголовья, осторожно отводила назад непокорные пряди. На этот раз она смотрела на него с сестринской нежностью и носовым платком вытирала ему со лба холодный пот. Тогда он вспомнил прекрасную сцену из Еврипидова „Ореста“ — ту, что он набросал для своей картины, которая, закончи он ее, могла бы стать его шедевром: сцену, где несчастная Электра удаляет пену, выступающую на губах у брата. И ему казалось, что Элоди обращается к нему кротким голосом: „Выслушай меня, милый брат, пока фурии не отняли у тебя рассудка...“

„И все-таки,— думал он,— я не отцеубийца. Напротив, именно движимый сыновней любовью, я проливал нечистую кровь врагов моей родины“.

Конда не было этим тюремным заговорам. Еще сорок девять человек посадили на скамью подсудимых. Морис Бротто занимал почетное место в верхнем ряду направо. На нем был его коричневый сюртук, который он накануне тщательно вычистил и залатал в том месте, где томика Лукреция в конце концов протер дыру в кармане. Рядом с Бротто сидела гражданка Рошмор, покрашенная, набеленная, разряженная, чудовищная. Отца Лонгмара посадили между нею и девицей Атенаис, которая вновь обрела в Мадлонет всю свежесть ранней юности.

Жандармы пригнали на скамью подсудимых людей, которых никто из перечисленных лиц не знал и которые, быть может, не знали друг друга, что не мешало объявить соумышленниками всех этих депутатов, поденщиков, бывших дворян, мещан и мещанок. Гражданка Рошмор заметила Гамлена на скамье присяжных. Хотя он ни разу не ответил на ее настойчивые письма, на ее неоднократные послания, она тем не менее надеялась и с надеждой кинула на него умоляющий взор, стараясь пленить и растрогать его. Но холодный взгляд молодого судьи разрушил все ее иллюзии.

Секретарь прочел обвинительный акт: как ни мало уделялось в нем внимания каждому подсудимому в отдельности, однако чтение его заняло много времени из-за большого числа обвиняемых. Широкими штрихами набрасывал он картину заговора, организованного в тюрьмах, с целью утопить республику в крови народных представителей и парижского населения; останавливаясь на отдельных подсудимых, акт отмечал:

„Один из наиболее опасных инициаторов этого гнусного заговора, некий Бротто, прежде — дез-Илетт, откупщик податей в царствование тирана. Эта личность, даже во времена тирании выделявшаяся своим развратным поведением, является наглядным доказательством того, что распутство и безнравственность — величайшие враги свободы и счастья народов: действительно, растратив казенные суммы и расточив в кутежах значительную часть народного достояния, этот субъект вошел в сношения со своей бывшей сожительницей, некоей Рошмор, чтобы поддерживать переписку с эмигрантами и изменнически осведомлять зарубежных заговорщиков о состоянии

наших финансов, о передвижениях наших войск, о переменах в общественном настроении.

„Бротто, который в этот период своего презренного существования сожительствовал с девицей Атенаис, проституткой, подобранной им в грязи улицы Фроманто, без всякого труда втянул ее в свои планы и подговорил к контрреволюционным выступлениям, выразившимся в бесстыдных возгласах и непристойных призывах.

„Несколько изречений этого зловерного человека ясно характеризуют его гнусные идеи и пагубную цель. Говоря о патриотическом Трибунале, ныне призванном покарать его, он нагло утверждал: „Революционный трибунал похож на пьесу Вильяма Шекспира, в которой самые кровавые сцены перемежаются с пошлейшим шутовством“. Он неустанно проповедывал безбожие как наиболее верное средство ослабления и развращения народа. В тюрьме Консьержери, где он содержался, он оплакивал, как худшие бедствия, успехи наших доблестных армий и старался навлечь подозрение на полководцев, неоднократно доказавших свой патриотизм, приписывая им стремления к захвату государственной власти. „Будьте готовы,— угрожал он на своем ужасном языке, который перо не решается передать,— будьте готовы к тому, что один из этих брядатеley оружием, которым вы обязаны своим спасением, проглотит вас всех, как в басне журавль проглотил лягушек“.

Далее обвинительный акт гласил:

„Рошмор, бывшая дворянка, сожительница Бротто, виновна не менее его. Она не только переписывалась с границей и получала денежную поддержку от самого Питта, но в сообществе с подкупленными лицами, а именно Жюльеном (из Тулузы) и Шабо, и состоя в сношениях с бывшим бароном де-Батцом, она совместно с этим злодеем изобретала всевозможные махинации с целью понизить курс акций Индийской компании, чтобы, скупив их за бесценок, поднять затем их стоимость путем противоположных махинаций, нанося таким образом вред собственности частной и собственности государственной. Находясь в заключении в Бурбе и Мадлонет, она и в тюрьме не переставала принимать участие в заговорах, в биржевых спекуляциях, одновременно пытаясь подкупить судей и присяжных.

„Луи Лонгмар, бывший дворянин, бывший капудин, уже давно принимал участие во всяких гнусностях и преступлениях, раньше чем решился посвятить себя делу измены, за что и привлекается

теперь к ответственности. Живя в постыдной связи с девицей Горкю, именуемой Атенаис, под одной кровлей с Бротто, он является сообщником вышеназванной девицы и бывшего дворянина. Во время своего заключения в Консьержери он ни на один день не прекратил писания пасквилей, посягающих на свободу и на общественное спокойствие.

„По поводу Марты Горкю, именуемой Атенаис, уместно будет отметить, что публичные женщины — величайший бич народных прав, которые они оскорбляют, и позор для общества, которое они бесчестят. Но к чему распространяться об омерзительных преступлениях, в которых подсудимая сама бесстыдно сознается!..“

Обвинительный акт переходил затем к остальным сорока пяти подсудимым, которых ни Бротто, ни отец Лонгмар, ни гражданка Рошмор совсем не знали, если не считать того, что кое-кого из них они видали в тюрьмах, но которые вместе с ними были объявлены соучастниками „гнусного заговора, не находящего себе примера в летописях народов“.

Обвинительный акт требовал смертной казни для всех обвиняемых.

Первым допросили Бротто.

— Ты принимал участие в заговоре?

— Нет, не принимал. В только что оглашенном обвинительном акте все — ложь.

— Вот видишь: ты и сейчас злоумышляешь против Трибунала.

И председатель перешел к гражданке Рошмор, отвечавшей на все вопросы отчаянным протестом, слезами и уловками.

Отец Лонгмар всецело положился на волю божию: Он даже не захватил с собой написанной им защитительной речи.

На все предложенные ему вопросы он отвечал с полным самоотречением. Однако, когда председатель назвал его капуцином, в нем пробудился прежний человек.

— Я не капуцин, — сказал он, — я — священник и член ордена варнавитов.

— Это одно и то же, — благодушно возразил председатель.

Отец Лонгмар посмотрел на него с возмущением.

— Трудно допустить более странную ошибку, чем смешение капуцина с членом ордена варнавитов, основанного самим апостолом Павлом.

В публике раздались хохот и шиканье.

Отец Лонгмар, принимая эти насмешки за выражение несогласия с ним, заявил, что он готов умереть членом святого ордена Варнавы, одеяние которого он носит в сердце.

— Признаешь ли ты,—спросил председатель,— что участвовал в заговоре вместе с девицей Горкю, именуемой Атенаис, которая дарила тебя своими презренными ласками?

Отец Лонгмар устремил к небу скорбный взор и ответил на этот вопрос молчанием, выразившим изумление чистой души и серьезность монаха, опасавшегося всяких суетных слов.

— Девица Горкю,— обратился председатель к юной Атенаис,— признаешь ли ты, что участвовала в заговоре с Бротто?

— Господин Бротто,— кротко ответила она,— насколько я понимаю, делал только добро. Побольше бы таких людей на свете! Я не знаю человека лучше его. Те, кто говорит о нем противное, заблуждаются. Вот и все, что я могу сказать.

Председатель спросил ее, сознается ли она в том, что находилась с Бротто в незаконном сожителстве. Пришлось разъяснить ей этот термин, которого она не понимала. Когда же она уразумела, о чем идет речь, она ответила, что остановка была только за ним, но что он никогда не предлагал ей этого.

В трибунах послышался смех, и председатель пригрозил девице Горкю, что ее выведут из зала, если она еще раз позволит себе ответить с таким цинизмом.

Тогда она назвала его ханжой, постной рожей, рогоносцем, обрушила на него, на судей, на присяжных потоки площадной брани, продолжая неистовствовать до тех пор, пока жандармы не стащили ее со скамьи и не удалили из зала.

Затем председатель кратко допросил остальных подсудимых, в том порядке, в каком они сидели на скамьях. Некий Наветт ответил, что он не мог быть участником заговора в тюрьме, ибо находился там всего четыре дня. Председатель признал это объяснение заслуживающим внимания и попросил граждан присяжных принять его к сведению. Некий Белье ответил точно таким же образом, и председатель опять обратился к присяжным с замечанием в его пользу. Одни истолковывали эту благосклонность судьи как следствие достохвальной справедливости, другие же считали ее наградой за донос.

Слово взял заместитель общественного обвинителя. Он только развил основные положения обвинительного акта и поставил следующие вопросы:

— Доказано ли, что Морис Бротто, Луиза Рошмор, Луи Лонгмар, Марта Горкю, именуемая Атенаис, Евсевий Роше, Пьер Гюитон-Фабюле, Марселина Декурти и прочие составили заговор, средствами к достижению которого были: убийства, голод, подделка ассигнаций и металлических денег, развращение общественной нравственности, общественного мнения и мятеж в тюрьмах, а целью: гражданская война, роспуск народного представительства, восстановление королевской власти?

Присяжные удалились в совещательную комнату. Они единогласно признали виновными всех подсудимых, за исключением выше-названных Наветта и Белье, на которых сначала председатель, а за ним общественный обвинитель указали как на людей, в известной мере не причастных к делу. Гамлен мотивировал свой приговор следующим образом:

— Виновность подсудимых совершенно очевидна: наказание их необходимо для блага нации, и они сами должны желать для себя смертной казни как единственного средства искупить свою вину.

Председатель огласил приговор в отсутствии тех, кого он непосредственно касался. В дни больших процессов, вопреки требованию закона, осужденных не вводили в зал, чтобы объявить им постановление суда,— очевидно потому, что опасались взрыва отчаяния со стороны такого значительного количества людей. Напрасный страх, ибо в то время покорность жертв не имела предела! Секретарь спустился вниз прочесть приговор: его выслушали в таком безмолвии и с таким спокойствием, что невольно хотелось сравнить эти прерияльские жертвы с деревьями, предназначенными к рубке.

Гражданка Рошмор заявила, что она беременна. Среди присяжных оказался хирург, которому поручили осмотреть ее. В обмороке ее унесли в тюрьму.

— Ах,—с сокрушением заметил отец Лонгмар,—эти судьи достойны глубокого сожаления; их душевное состояние поистине плачевно. Они путают все и смешивают варнавита с францисканцем.



Казнь должна была совершиться в тот же день у заставы Опрокинутого Трона. Осужденные, которым остригли волосы и вырезали ворот сорочки, ожидали палача, загнанные, как скотина, в небольшое помещение, отделенное от канцелярии стеклянной перегородкой.

Когда прибыл со своими помощниками палач, Бротто, спокойно читавший Лукреция, заложил на начатой странице закладку, захлопнул книгу, сунул ее в карман сюртука и сказал варнавиту:

— Меня бесит, преподобный отец, что мне уже не удастся переубедить вас. Мы оба сейчас заснем последним сном, и я не смогу дернуть вас за рукав и разбудить, чтобы сказать вам: „Вот видите, вы больше ничего не чувствуете и не сознаете: вы лишены души. То, что следует за жизнью, ничем не отличается от того, что ей предшествует“.

Он хотел улыбнуться, но внезапно ощутил такую острую боль в груди, что едва не упал в обморок.

Однако он продолжал:

— Я обнаружил перед вами свою слабость, отец мой: я люблю жизнь и расстанусь с ней не без сожаления.

— Сударь,— кротко ответил монах,— обратите внимание на то, что, хотя вы и мужественнее меня, тем не менее смерть повергает вас в большее смятение. Что же это означает, как не то, что я вижу свет, которого вы еще не видите?

— А может быть, это объясняется тем,— возразил Бротто,— что я сожалею о жизни, которой пользовался лучше, чем вы, ибо вы все время старались сделать ее подобием смерти.

— Сударь,— бледнея сказал отец Лонгмар,— сейчас торжественная минута. Да поможет мне господь! Теперь уже ясно, что мы умрем без причастия. Вероятно, я некогда принимал святые дары без должного трепета и благодарности, если небо отказывает мне в них сегодня, когда я так в этом нуждаюсь.

Телеги уже ожидали внизу. Осужденных со связанными руками усадили вплотную друг к другу. Рошмор, у которой хирург не нашел признаков беременности, втащила на один из возков. Собрав последние силы, она пристально всматривалась в толпу зрителей, надеясь, вопреки всякой надежде, найти среди них спасителя. Ее глаза были полны мольбы. Стечение народа было значительно меньше,

чем прежде, и состояние умов менее возбужденное. Только несколько женщин кричали: „Смерть им!“ или издевались над теми, кому предстояло сейчас умереть. Мужчины же пожимали плечами, отворачивались и хранили молчание не то из осторожности, не то из уважения к закону.

Трепет пробежал по толпе, когда Атенаис переступила порог: она казалась совсем ребенком.

Она склонила голову перед монахом:

— Господин кюре,— сказала она,— дайте мне отпущение грехов.

Отец Лонгмар торжественно прошептал слова молитвы и закончил:

— Дочь моя, вы дошли до самого ужасного падения, но я желал бы вознести к престолу всевышнего сердце, столь же бесхитростное, как ваше.

Она легко впорхнула в телегу и там, выпрямившись, гордо вскинув свою детскую головку, крикнула:

— Да здравствует король!

Она сделала Бротто знак, что рядом с ней есть место. Бротто помог взобраться варнавиту и затем поместился между монахом и бесхитростной девушкой.

— Сударь,— обратился отец Лонгмар к философу-эпикурейцу,— прошу вас, как о милости: помолитесь за меня богу, в которого вы еще не веруете. Как знать: быть может, вы даже ближе к нему, чем я. Одно мгновение может все решить. Чтобы стать любимым сыном господа, нужно не более секунды. Помолитесь за меня, сударь.

Все время, пока колеса, скрипя, катились по мостовой обширного предместья, монах и сердцем и устами твердил отходную.

Бротто вспоминал стихи вдохновенного певца природы: „Sic ubi non egimus...“ Со связанными руками, подскакивая при каждом толчке, он и в позорной телеге сохранял спокойную осанку и даже как будто старался устроиться поудобнее. Рядом с ним Атенаис, гордая тем, что умирает так же, как королева Франции, окидывала высокомерным взглядом толпу, и старый откупщик, с видом знатока любуясь белой шеей молоденькой женщины, сожалел о том, что его жизнь сейчас оборвется.

Между тем как окруженные конными жандармами телеги приближались к площади Опрокинутого Трона, везя на казнь Бротто и его сообщников, Эварист сидел задумавшись на скамье в Тюильрийском саду. Он поджидал Элоди. Солнце, склоняясь к горизонту, пронизывало огневыми стрелами густую листву каштанов. У садовой решетки Слава верхом на крылатом коне неустанно трубила в свою трубу. Газетчики выкрикивали последнее сообщение о крупной победе под Флерюсом.

„Да,— размышлял Гамлен,— победа на нашей стороне. Но мы дорого заплатили за нее“.

Ему мерещились тени осужденных за бездарность генералов: он видел их в кровавой пыли на площади Революции, где они сложили свои головы. И он гордо улыбнулся, подумав, что без суровых мер, в осуществлении которых и он принимал участие, лошади австрийцев сейчас обгладывали бы тут кору с деревьев.

„О спасительный террор, святой террор! — мысленно восклицал он.— В прошлом году в это самое время нашими защитниками были побежденные герои в отрепьях; неприятель попирал почву нашей родины; две трети департаментов были охвачены мятежом. Теперь же наши войска, хорошо снаряженные, хорошо обученные, под начальством искусных полководцев переходят в наступление и готовы разнести свободу по всему свету... На всей территории республики царит мир... О спасительный террор, святой террор! О бесценная гильотина! В прошлом году, в это самое время, республику раздирали на части заговоры, гидра федерализма чуть-чуть не пожрала ее. А ныне тесно сплоченные якобинцы простирают свою мудрую власть над всем государством...“

И все-таки он был мрачен. Глубокая морщина прорезала ему лоб; горькая складка залегла у рта. Он думал: „Мы говорили: победить или умереть. Мы ошиблись. Надо было сказать: победить и умереть“.

Он посмотрел вокруг себя. Дети играли песком. Гражданки, сидя под деревьями на стульях, шили или вышивали. Изящные мужчины во фраках и странного покроя панталонах возвращались к себе домой, занятые делами и развлечениями. И Гамлен чувствовал

себя среди них одиноким: он не был ни их соотечественником, ни их современником. Что же такое произошло? Каким образом на смену энтузиазму прекрасных лет явились безразличие, усталость, а быть может, и отвращение? Эти люди явно не желали больше слышать о Революционном трибунале и отворачивались от гильотины. Она уже слишком намозолила всем глаза на площади Революции, и ее загнали в самый конец Антуанского предместья. Но и там вид роковых телег вызывал ропот. Говорят, будто несколько голосов однажды даже крикнуло: „Довольно!“

„Довольно, когда есть еще изменники и заговорщики! Довольно, когда следует обновить комитеты, очистить Конвент! Довольно, когда негодяи позорят народное представительство! Довольно, когда даже в Революционном трибунале замышляют гибель Праведника! Страшно подумать, но тем не менее это так: сам Фулье подготовлял заговор, и именно для того, чтобы погубить Максимилиана, он торжественно принес ему в жертву пятьдесят семь человек, которых, точно отцеубийц, доставили к эшафоту в красных рубашках! Откуда же эта преступная жалость, внезапно овладевшая Францией? Значит, ее необходимо спасать вопреки ее воле, когда она умоляет о пощаде, затыкать себе уши и разить? Увы, это было предначертано роком: отечество проклиняло своих спасителей. Пускай оно клянет нас, лишь бы оно было спасено.

„Мало приносить безвестные жертвы, аристократов, финансистов, публицистов, поэтов, какого-нибудь Лавуазье, Руше, Андре Шенье. Необходимо поразить всемогущих злодеев, грабежающих золото обгабренными кровью руками, всех этих Фуше, Тальенов, Роверов, Карьеров, Бурдонов, которые готовят гибель Горе. Надо освободить государство от всех врагов. Если бы восторжествовал Гебер, Конвент был бы разогнан и республика скатилась бы в пропасть; если бы восторжествовали Демулен и Дантон, Конвент, дойдя до нравственного падения, отдал бы республику на растерзание аристократам, биржевикам и генералам. Если восторжествуют Тальены и Фуше, эти чудовища, упившиеся кровью и грабежами, Франция потонет в преступлениях и позоре... Ты спишь, Робеспьер, а изверги, пьяные от ярости и ужаса, замышляют покончить с тобой и навеки похоронить свободу. Кутон, Сен-Жюст, почему вы медлите с изобличением заговорщиков?

„Как! Прежнее государство, тираническое чудовище, утвер-



ждало свою власть, ежегодно заточая в тюрьмы по четыреста тысяч человек, вешая по пятнадцать тысяч, колесуя по три тысячи, а республика никак не может решиться пожертвовать несколькими сотнями голов в интересах собственных безопасности и могущества? Пусть мы захлебнемся в крови, но мы спасем отечество...“

Он все еще размышлял над этим, когда, бледная, небрежно одетая, подбежала к нему Элоди:

— Что ты хотел мне сказать, Эварист? Почему ты не пришел в „Амур-Художник“, в голубую комнату? Зачем ты вызвал меня сюда?

— Чтобы навек проститься с тобой.

Она пробормотала, что он безумец, что она ничего не понимает.

Он остановил ее еле заметным движением руки:

— Элоди, я больше не могу принимать твою любовь.

— Замолчи, Эварист, замолчи!

Она предложила ему пойти подальше: здесь их могли увидеть, могли услышать.

Он прошел шагов двадцать и заговорил совершенно спокойно:

— Я принес в жертву родине и жизнь и честь. Я умру опозоренным и ничего не смогу завещать тебе, несчастная, кроме всем ненавистного имени... Любить друг друга? Но разве меня можно любить?.. И разве я могу любить?

Она еще раз назвала его сумасшедшим, стала уверять, что любит и будет любить всегда. Она говорила пылко, искренно. Однако, так же как он, и даже лучше его, она сознавала всю правоту его слов и спорила против очевидности.

— Я ни в чем не упрекаю себя,— продолжал он.— Я и впредь поступал бы так, как поступал до сих пор. Ради отечества я подверг себя отлучению. Я проклят. Я поставил себя вне человечества и никогда не вернусь к нему. Нет! Великая задача еще не завершена. Милосердие! Прощение!.. А разве изменники прощают? Разве заговорщики милосердны? Предателей родины с каждым часом становится все больше и больше; они вырастают из-под земли, они стекаются со всех границ: молодые люди, которым более пристало бы погибать в рядах наших армий, старики, дети, женщины, напяливающие на себя личины невинности, чистоты и грации. А когда их казнят, на их месте появляются другие, в еще большем коли-

честве... Ты отлично видишь, что я должен отказаться от любви, от утех, от всякой радости в жизни, от самой жизни.

Он умолк. По своей природе склонная к мирным наслаждениям, Элоди за последнее время уже не раз с ужасом замечала, что к сладострастным ощущениям, которые она испытывала в объятиях трагического любовника, все чаще примешиваются кровавые картины. Она ничего не ответила. Эварист, как горькую чашу, испил молчание молодой женщины.

— Ты отлично видишь, Элоди: мы с головокружительной быстротой стремимся вперед. Наше дело поглощает нас. Наши дни, наши часы—это годы. Мне скоро исполнится сто лет. Посмотри на мое чело, разве это чело любовника? Любить!..

— Эварист, ты мой, я не отпущу тебя, я не верну тебе свободы.

Это было самопожертвованием. Он почувствовал это по интонации. Да и сама она это чувствовала.

— Элоди, решишься ли ты когда-нибудь подтвердить, что я был верен своему долгу, что помыслы мои были честны и душа чиста, что я не ведал иной страсти кроме стремления к общественному благу, что по натуре я был человеком чувствительным и нежным? Скажешь ли ты: „Он исполнил свой долг“? Нет! Ты этого не скажешь. И я не прошу тебя об этом. Пускай бесследно исчезнет память обо мне! Вся моя слава схоронена у меня в сердце, а окружает меня позор. Если ты меня любила, никогда ни единым словом не упоминай обо мне.

В эту минуту ребенок лет восьми-девяти, игравший в серсо, с разбегу уткнулся в колени Гамлену.

Эварист быстро схватил его на руки:

— Дитя! Ты вырастешь свободным и счастливым человеком и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы, проливая слезы радости, упали друг другу в объятия.

Он прижал его к груди:

— Малыш, когда ты станешь мужчиной, ты будешь обязан мне своим счастьем и невинностью. А между тем, услышав мое имя, ты предашь его проклятию.

И он спустил на землю ребенка, который в страхе кинулся к матери, уже спешившей ему навстречу.

Молодая мать, красивая женщина в белом батистовом платье, судя по наружности, аристократка, с надменным видом увела своего мальчика.

Гамлен, дико сверкнув глазами, обернулся к Элоди:

— Я расцеловал этого ребенка, а его мать, быть может, я отправлю на эшафот.

И он удалился большими шагами, держась в тени деревьев.

С минуту Элоди простояла неподвижно, опустив взор и глядя в одну точку. Потом она вдруг кинулась вслед своему любовнику; в порыве иступления, с развевающимися, как у менады, волосами, она схватила его, словно желая растерзать, и сдавленным от слез голосом крикнула:

— Ну что ж, и меня, возлюбленный мой, пошли на гильотину! Прикажи и мне отрубить голову!

И, представляя себе, как нож касается ее шеи, она чувствовала, что все ее тело содрогается от ужаса и сладострастия.

XXVI

Термидорианское солнце уже садилось в кровавом пурпуре. Эварист, мрачный и озабоченный, бродил по аллеям Марбефского сада, ставшего национальной собственностью и местом прогулок праздных парижан. Там пили лимонад, ели мороженое; были там и карусель и тигры для юных патриотов. Под деревом мальчик-савояр в отрепьях и черном колпаке играл на волынке, и под ее резкие звуки плясал сурок. Стройный, довольно моложавый мужчина в голубом фраке, с напудренными волосами, шедший в сопровождении большой собаки, остановился послушать эту сельскую музыку. Эварист узнал Робеспьера. Он заметил его бледность, его худобу; лицо стало жестче, и на лбу залегла скорбная морщина.

„Сколько трудов, сколько страданий,— подумал он,— наложили печать на это чело! Как тяжело работать для счастья человечества! О чем размышляет он сейчас? Отвлекает ли его от дел и забот звук горной волынки? Думает ли он о том, что заключил договор со

смертью и что недалеко уже час расплаты? Изыскивает ли он способы победоносно вернуться в Комитет общественного спасения, из которого ушел вместе с Кутонем и Сен-Жюстом из-за мятежного большинства? Какие надежды, какие опасения скрываются за этими непроницаемыми чертами?"

Максимилиан меж тем улыбнулся мальчику, кротким благожелательным голосом задал ему несколько вопросов об его родной долине, о хижине, о родителях, которых бедняжка покинул, бросил ему мелкую серебряную монету и направился дальше. Пройдя несколько шагов, он обернулся и подозвал собаку, которая, почуя грызуна, оскалила зубы на ошетинившегося сурка.

— Браунт! Браунт!

Потом он углубился в сумрак аллеи.

Гамлен из уважения не пожелал нарушить его одиночество. Но наблюдая издали тонкий силуэт, сливавшийся с окружающей тьмою, он мысленно обратился к нему с речью:

„Я видел твою грусть, Максимилиан; я понял твою мысль. Скорбь, усталость и даже выражение ужаса, застывшее у тебя во взгляде,— все в тебе говорит: „Пусть прекратится террор и наступит братство! Французы, будьте едины, будьте доблестны, будьте добры. Любите друг друга“... Ну что ж! Я помогу тебе в осуществлении этих намерений; чтобы, мудрый и благостный, ты мог положить конец гражданским распрям, угасить братоубийственную ненависть, сделать падача огородником, который будет срезать не человеческие головы, а капусту и латук, я вместе с товарищами по Трибуналу уготовлю стези милосердию, уничтожая заговорщиков и изменников. Мы удвоим нашу бдительность и суровость. Ни один виновный не ускользнет от нас. И когда голова последнего врага республики падет под ножом, тогда ты сможешь быть милосердным, не совершая преступления, и установишь во Франции царство невинности и добродетели, о отец отчизны!“

Неподкупный был уже далеко. Двое мужчин в круглых шляпах и нанковых панталонах, из которых один, высокий, худой, свирепый на вид, с бельмом на глазу, был похож на Тальена, встретились с ним на повороте аллеи, искоса взглянули на него и, притворившись, что не узнали, прошли дальше. Отойдя на достаточное расстояние и уверившись, что их никто не слышит, они зашептались:

— Вот он, наш король, наш папа, наш бог. Ибо он, действительно, бог. А Екатерина Тео — его пророчица.

— Диктатор, предатель, тиран! И на тебя найдутся Бруты.

— Трепещи, злодей! Тарпейская скала недалеко от Капитолия.

К ним приблизился Браунт. Они замолчали и ускорили шаг.

XXVII



ы спишь, Робеспьер! Часы уходят, драгоценное время бежит...

Наконец, восьмого термидора, в Конвенте, Неподкупный поднимается и хочет говорить. Солнце тридцать первого мая, неужели ты всходишь во второй раз? Гамлен ждет, надеется. Робеспьер навсегда изгонит с опозоренных ими скамей законодателей, более преступных, чем федералисты, более опасных, чем Дантон... Нет, еще не сейчас! „Я не могу,— говорит он,— решиться разорвать до конца завесу, прикрывающую глубокую тайну беззакония“. И молния, рассеивающаяся в воздухе, не поражая никого из заговорщиков, приводит их всех в трепет. Уже две недели шестьдесят человек из их числа не решались ночевать у себя дома. Марат — тот называл предателей по именам, он указывал на них пальцем. Неподкупный колеблется, и с этой минуты обвиняемый — он.

Вечером в клубе якобинцев невероятная давка — в зале, в коридорах, во дворе.

Здесь все налицо — шумные друзья и немые враги. Робеспьер читает им ту самую речь, которую Конвент выслушал в страшном молчании, и якобинцы покрывают ее бурными рукоплесканиями.

— Это,— говорит он,— мое завещание: вы увидите, как я, не дрогнув, выпью чашу цикуты.

— Я выпью ее вместе с тобой,— отвечает Давид.

— Все мы, все мы выпьем! — кричат якобинцы и расходятся, не приняв никакого решения.

В то время как враги готовили Праведнику смерть, Эварист спал сном учеников христовых в Масличном саду. Утром он отправился в Трибунал, где заседали секции. Та из них, в которую

входил он, разбирала дело двадцати одного участника заговора в Сен-Лазарской тюрьме. А в это время уже распространялась весть: „Конвент после шестичасового заседания постановил привлечь к ответственности Максимилиана Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста, а также Огюстена Робеспьера и Леба, пожелавших разделить участь обвиняемых. Все пятеро заключены под стражу“.

Становится также известным, что председатель секции, помещающейся в соседнем зале, гражданин Дюма, арестован во время исполнения обязанностей, но что заседание продолжается. Слышно, как трубят сбор и бьют в набат.

Эваристу на скамье присяжных вручают приказ Коммуны отправиться в ратушу для участия в заседании Генерального совета. Под звон набата и бой барабанов он вместе с товарищами выносит приговор и бежит к себе — обнять мать и надеть трехцветную перевязь. Тионвилльская площадь безлюдна. Секция не решается высказаться ни за Конвент, ни против него. Прохожие робко жмутся к стенам, норовят поскорее скрыться в воротах, попасть к себе домой. На звуки набата и барабанную дробь откликаются захлопывающиеся ставни и громыхающие засовы дверей. Гражданин Дюпон-старший спрятался у себя в мастерской: консьерж Ремакль запирается в своей привратничкой. Малютка Жозефина боязливо сжимает в объятиях Мутона. Вдова Гамлен сокрушенно вздыхает о дороговизне съестных припасов — причине всех бед. На нижней площадке лестницы Эварист сталкивается с Элоди. Она запыхалась, пряди черных волос прилипли к влажной шее.

— Я искала тебя в Трибунале. Ты только что ушел оттуда. Куда ты идешь?

— В ратушу.

— Не ходи туда! Ты погубишь себя: Анрио арестован... секции не выступят. Секция Пик, оплот Робеспьера, спокойна. Я знаю наперняка: мой отец ведь член ее. Если ты отправишься в ратушу, ты напрасно погубишь себя.

— Ты хочешь, чтобы я был трусом?

— Напротив: сейчас мужество заключается в верности Конвенту и в повиновении закону.

— Закон умер, если торжествуют злодеи.

— Эварист, послушайся своей Элоди, послушайся своей сестры: сидь рядом с ней, чтобы она успокоила твою смятенную душу.

Он взглянул на нее: никогда еще не казалась она ему такой желанной; никогда этот голос не звучал для него так страстно, так убедительно.

— Два шага, только два шага, мой любимый!

Она увлекла его к высокому газону, на котором находился пьедестал опрокинутой статуи. Вокруг стояли скамьи, пестревшие рядомными мужчинами и женщинами. Торговка галантереей предлагала купить у нее кружева. Продавец целебной настойки, с бутылью за плечами, звонил в колокольчик; девочки играли в кольца. На отлогом берегу рыболовы застыли в неподвижных позах с удочкой в руке. Погода была ветреная, небо в тучах. Гамлен, склонившись над парашютом, смотрел на остров, заостренный, точно корабельный нос, слушал, как стонут на ветру верхушки деревьев, и чувствовал, что всем его существом овладевает бесконечное желание покоя и уединения.

И, словно сладостный отголосок его мысли, звучал рядом тихий голос Элоди:

— Помнишь, как при виде полей тебе захотелось быть мировым судьей где-нибудь в деревушке? Ведь это было бы счастьем.

Но, покрывая шелест деревьев и голос женщины, до него доносились звуки набата, барабанный бой, отдаленный топот коней и громыханье пушек по мостовой.

В двух шагах от него молодой человек, беседовавший с изящной гражданкой, сказал:

— Знаете вы последнюю новость?.. Оперу перевели на улицу Закона.

Однако все уже было известно: шопотом произносили имя Робеспьера, но делали это с опаской, так как он продолжал еще внушать страх. И женщины, боязливо передавая из уст в уста слух об его падении, сдерживали улыбку.

Эварист Гамлен схватил руку Элоди и тотчас же выпустил ее:

— Прощай! Я приобщил тебя к своей ужасной судьбе, я навсегда погубил твою жизнь. Прощай! Постарайся забыть меня!

— Смотри,—ответила она,—не возвращайся сегодня ночью к себе. Приходи к „Амуру-Художнику“. Не звони: кинь камешком мне в ставни. Я сама отпущу дверь и спрячу тебя на чердаке.

— Либо я вернусь к тебе победителем, либо не вернусь совсем. Прощай!

Подходя к ратуше, он услышал подымающийся к нависшему небу гул, характерный для всех великих дней. На Гревской площади раздавалось бряцание оружия, пестрели трехцветные перевязи и мундиры, выстраивались в боевом порядке пушки Анрио. Он поднимается по парадной лестнице, у входа в зал совета расписывается на листе. Члены Генерального совета Коммуны в числе четырехсот девяносто одного единогласно высказываются в пользу обвиняемых.

Мэр отдает распоряжение принести таблицу Прав Человека и читает вслух статью, где говорится: „Когда правительство нарушает народные права, восстание является священнейшим и необходимейшим долгом народа“. И главное должностное лицо Парижа объявляет, что государственному перевороту, совершенному Конвентом, Коммуна противопоставляет народное восстание.

Члены Генерального совета клянутся умереть на своем посту. Двум муниципальным офицерам поручается отправиться на Гревскую площадь и предложить народу присоединиться к Коммуне, в целях спасения отечества и свободы.

Ищут друг друга, обмениваются новостями, подают советы. Здесь, среди магистратов, мало ремесленников. Коммуна, члены которой тут собрались, имеет то лицо, какое ей придала якобинская чистка, это — судьбы и присяжные Революционного трибунала, художники, вроде Бовале и Гамлена, капиталисты и профессора, зажиточные мещане, крупные торговцы, в запудренных париках и с брелоками на животе; тут почти не видно деревянных башмаков, широких штанов, карманьол, красных колпаков. Их много, этих буржуа, и все они готовы бороться до крайности. Но, в сущности, ими почти исчерпывается все, что есть в Париже подлинно республиканского. Они сгрудились в ратуше, как на скале свободы, окруженные со всех сторон океаном равнодушия.

Между тем приходят благоприятные вести. Все тюрьмы, куда заключили обвиняемых, раскрывают двери и отпускают их на волю. Опустен Робеспьер, явившийся из Форс, первым приходит в ратушу; его встречают аплодисментами. В восемь часов становится известно, что Максимилиан, после продолжительных колебаний, тоже направляется в Коммуну. Его ждут, он сейчас должен явиться, он явился: чудовищный гром рукоплесканий сотрясает своды старинного муниципального здания. Его торжественно вносят на руках. Этот

щуплый, опрятный человек в голубом фраке и желтых панталонах, это — он. Он занимает свое место, он говорит.

Не успеваешь переступить порог, как Генеральный совет приказывает немедленно иллюминировать ратушу. В нем воплощена сама республика. Он говорит, говорит своим высоким голосом, тщательно выбирая выражения. Он говорит изысканно, пространно. Те, кто здесь собрался, кто жизнью рискует из-за него, с ужасом замечают, что это говорит, умеющий ораторствовать в комитетах и на трибуне, но неспособный на быстрое решение, на революционный шаг.

Его увлекают в зал совещаний. Теперь они все в сборе, эти славные преступники: Леба, Сен-Жюст, Кутон. Робеспьер говорит. Половина первого ночи: он все еще говорит. Между тем Гамлен в зале совета, прильнув лицом к окну, тоскливо всматривается в темноту; он видит, как чадят плашки во мраке ночи. Пушки Анри выстроились перед ратушей. На совершенно черной площади волнуется встревоженная, не знающая что делать толпа. В половине первого из-за угла улицы Ванри показываются факелы — они окружают делегата Конвента, облеченного знаками своего достоинства. Он разворачивает бумагу и, залитый красным светом факелов, читает вслух декрет Конвента, постановившего объявить вне закона членов мятежной Коммуны, членов Генерального совета, действующих с ней заодно, и всех граждан, которые откликнутся на ее призыв.

Объявление вне закона, казнь без следствия и суда! Одна мысль об этом заставляет бледнеть самых решительных людей. Гамлен чувствует, как на лбу у него выступает холодный пот. Он смотрит на толпу, которая торопливо покидает Гревскую площадь.

Он поворачивается и видит, что зал, где только что яблоку негде было упасть, почти пуст.

Но напрасно бежали все эти члены Генерального совета: они ведь расписались.

Два часа ночи. В соседнем зале Неподкупный совещается с Коммуной и магистратами, объявленными вне закона.

Гамлен устремляет безнадежный взор на черную площадь. При свете фонарей он замечает, как со стуком, словно кегли, ударяются друг о дружку деревянные подпорки на навесе у бакалейщика. Фонари покачиваются и мерцают: поднялся сильный ветер. Минуту спустя разражается ливень; площадь окончательно пустеет: тех, кого не разогнал ужасный декрет, обращают в бегство несколько капель

воды. Пушки Анрио покинуты на произвол судьбы. И когда войска Конвента при вспышках молнии подходят одновременно с набережной и с улицы Антуан, у подъездов ратуши нет уже никого.

Наконец Максимилиан решился обратиться за поддержкой против Конвента к секции Пик.

Генеральный совет приказывает доставить ему сабли, пистолеты, ружья. Но лязг оружия, шум шагов, звон разбиваемых стекол уже наполняет здание. Словно лавина, проносятся войска Конвента через зал совещаний и устремляются в зал совета. Раздается выстрел: Гамлен видит, как падает с раздробленной челюстью Робеспьер. Гамлен выхватывает карманный нож, тот самый дешевый нож, которым когда-то, в дни голода, он отрезал ломоть хлеба для бедной матери, тот самый, который прелестным вечером на ферме в Оранжи лежал на коленях у Элоди во время игры в фанты; он раскрывает его и хочет вонзить себе в сердце: лезвие натывается на ребро, гнется, и он ранит себе два пальца. Гамлен падает, обливаясь кровью. Он лежит неподвижно, но страдает от страшного холода, и в шуме и сумятице ужасной борьбы, попираемый ногами, явственно слышит голос молодого драгуна Анри:

— Тирана уже нет в живых! Его приспешники разбиты. Революция снова пойдет своим величественным и грозным путем.

Гамлен теряет сознание.

В семь часов утра хирург, присланный Конвентом, перевязал ему раны. Конвент был полон забот о сообщниках Робеспьера: он желал, чтобы ни один из них не избежал гильотины. Художника, бывшего присяжного, бывшего члена Генерального совета Коммуны, на носилках доставили в Консьержери.

XXVIII



десятого термидора, когда Эварист, после лихорадочного сна, вдруг очнулся в невыразимом ужасе на тюремной койке, Париж, огромный и прекрасный, радостно улыбался солнцу; надежда воскресала в сердцах узников; торговцы весело открывали лавки, буржуа чувствовали себя богаче, молодые люди — счастливее, женщины — красивее, и все это благодаря падению Робеспьера. Только горсточка якобинцев, несколько

священников, присягнувших конституции, да десяток старух трепетали при мысли, что власть перешла в руки людей дурных и порочных. Революционный трибунал отправил в Конвент делегацию в составе общественного обвинителя и двух судей с поздравлениями по случаю пресечения заговора. Собрание постановило, что эшафот опять будет воздвигнут на площади Революции. Оно хотело, чтобы богачи, щеголи, красивые женщины могли со всеми удобствами смотреть на казнь Робеспьера, которая должна была состояться в тот же день. Диктатор и его приспешники были объявлены вне закона; достаточно было двум муниципальным офицерам удостоверить их личность, чтобы Трибунал немедленно передал их палачу. Но тут возникло неожиданное затруднение: удостоверение личности не могло быть совершено с соблюдением требуемых законом формальностей, так как вся Коммуна была объявлена вне закона. Ввиду этого собрание разрешило Трибуналу удостоверить личность преступников при помощи обыкновенных свидетелей.

Триумвиров и их главных сообщников повлекли к эшафоту среди криков восторга и ярости, среди проклятий, смеха и танцев.

На следующий день Эвариста, который уже оправился и кое-как мог держаться на ногах, вывели из камеры, доставили в Трибунал и усадили на помосте, на том самом помосте, где он не раз видел толпу осужденных и где до него перебивало столько знаменитых и безвестных жертв. Теперь помост стонал под тяжестью семидесяти человек, в большинстве своем членов Коммуны; некоторые из них были, как и Гамлен, присяжными, объявленными, как и Гамлен, вне закона. Он увидел свою скамью, спинку, к которой обычно прислонялся, место, откуда он наводил ужас на несчастных, место, где ему пришлось выдержать взгляды Жака Мобеля, Фортюне Шассаня, Мориса Бротто, умоляющие взоры гражданки Рошмор, стараниями которой его назначили присяжным и которую он отблагодарил смертным приговором. Над возвышением, где на трех креслах красного дерева, обитых алым утрехтским бархатом, заседали судьи, он увидел бюсты Шалье и Марата и бюст Брута, чью тень он однажды призвал в свидетели. Ничто не изменилось: ни секиры, ни дикторские вязки, ни красные колпаки на обоях, ни оскорбления, которыми „вязальщицы“ осыпали с трибун тех, кому предстояло умереть, ни душа Фукье-Тенвиля, упрямого, трудолюбивого, усердно роющегося в своих человекоубийственных доку-

ментах и отправляющего, как безупречный судья, своих вчерашних друзей на эшафот.

Гражданин Ремакль, консьерж и портной, и гражданин Дюпон-старший, столяр с Тионвильской площади, член Наблюдательного комитета секции Нового Моста, удостоверили личность Гамлена (Эвариста), художника, бывшего присяжного Революционного трибунала, бывшего члена Генерального совета Коммуны. Они свидетельствовали за вознаграждение в сто су ассигнациями, выплаченное им секцией. Но так как они находились в добрососедских и даже приятельских отношениях с Гамленом, им было совестно смотреть ему в глаза. Кроме того, было жарко, им хотелось пить, и они поспешили уйти, чтобы осушить по стакану вина.

Гамлен не без труда взобрался на телегу: он потерял много крови, и рана причиняла ему жестокую боль. Возница хлестнул свою клячу, и шествие тронулось под улюлюканье столпившихся зевак.

Женщины, узнавшие Гамлена, кричали:

— Туда тебе и дорога, кровопийца! Убийца, подрядившийся за восемнадцать франков в день!.. Он уже не смеется: смотрите, как он бледен... трус!

Это были те же самые женщины, которые недавно осыпали бранью заговорщиков и аристократов, крайних и умеренных — всех, кого Гамлен и его товарищи посылали на гильотину.

Телега свернула на набережную Морфондю и медленно поплелась по Новому Мосту и Монетной улице: дорога вела на площадь Революции, к эшафоту Робеспьера. Лошадь хромала; кучер поминутно стегал ее кнутом по ушам. Веселая, оживленная толпа любопытных замедляла движение конвоя. Публика приветствовала жандармов, сдерживавших коней. На углу улицы Онопоре оскорбления удвоились. Молодые люди, сидевшие за столиками в залах второго этажа модных ресторанов, высыпали к окнам, с салфетками в руках:

— Каннибалы! Людоеды! Вампиры! — кричали они.

Когда телега застряла в куче нечистот, которых не убрали за эти два дня всеобщего смятения, золотая молодежь пришла в восторг:

— Телега увязла в навозе!.. Там вам и место, якобинцы!

Гамлен был занят своими мыслями, и ему казалось, что он все понимает.




„Я заслуживаю смерти,— думал он.— Все мы поделом терпим поношения, которыми в нашем лице осыпают республику и от которых нам следовало оградить ее. Мы проявили слабость. Мы грешили снисходительностью. Мы предали республику. Мы заслужили свой жребий. Робеспьер, безупречный, праведный Робеспьер, и тот повинен в кротости и в снисходительности; он искупил эти ошибки своим мученичеством. Подобно ему, я тоже предал Республику; она погибает: справедливость требует, чтобы я умер вместе с ней. Я щадил кровь других: пускай же прольется моя собственная кровь! Пусть я погибну! Я это заслужил...“

Предаваясь этим размышлениям, он вдруг заметил вывеску „Амура-Художника“: воспоминания, и горестные и сладостные, бурным потоком нахлынули на него.

Лавка была заперта; жалюзи на всех трех окнах во втором этаже были спущены донизу. Когда телега проезжала под левым окном, окном голубой спальни, женская рука с серебряным кольцом на безымянном пальце слегка приподняла край жалюзи и кинула Гамлену красную гвоздику, которую он не смог поймать, так как руки у него были связаны, но он впился в нее взглядом, ибо она была для него символом и образом красных благоуханных уст, столько раз даривших прохладу его губам. Глаза его наполнились слезами, и, еще весь проникнутый очарованием этого последнего привета, он увидел на площади Революции сверкавший над толпою окровавленный нож.

XXIX

а Сене уже показался первый лед нивоза. Бассейны Тюильри, ручейки, фонтаны замерзли. Северный ветер поднимал на улицах облака снежной пыли. У лошадей шел из ноздрей белый пар. Горожане, проходя мимо лавок оптиков, взглядывали на термометр. Приказчик протирает заиндевелые окна „Амура-Художника“, и любопытные останавливались поглазеть на модные эстампы: на Робеспьера, выжимающего над чашей человеческое сердце, словно лимон, чтобы напиток крови, и на большие аллегорические картины, вроде „Тигрокрации Робес-

пьера“, представлявшей сплошное нагромождение гидр, змей, страшных чудовищ, которых тиран спустил на Францию. Тут же были выставлены: „Ужасный заговор Робеспьера“, „Арест Робеспьера“, „Смерть Робеспьера“.

В этот день, после обеда, Филипп Демай с папкой подмышкой вошел в лавку Жана Блез. Он принес ему доску, на которой выгравировал пунктиром „Самоубийство Робеспьера“. Язвительно-насмешливый резец гравера изобразил Робеспьера настолько отвратительным, насколько это было возможно. Французский народ еще не успел упиться подобными произведениями, пытавшимися увековечить чудовищные и позорные деяния человека, которого теперь винили во всех преступлениях революции. Однако торговец эстампами, знавший публику, предупредил Демай, что отныне он будет заказывать ему только военные сюжеты.

— Нам понадобятся победы и завоевания, сабли, султаны, генералы. Мы вступили на путь славы. Я это чувствую по себе: сердце у меня усиленно бьется при рассказах о подвигах наших доблестных армий. А когда я испытываю какое-нибудь чувство, редко бывает, чтобы все не испытывали его одновременно со мной. Воины и женщины, Марс и Венера — вот что нам нужно.

— Гражданин Блез, у меня остались еще два-три рисунка Гамлена, которые вы дали мне гравировать. Надо ли с этим потропиться?

— Совершенно незачем.

— Кстати о Гамлене: вчера, проходя по бульвару Тампль, я видел у одного старьевщика, лавка которого помещается как раз напротив дома Бомарше, все полотна этого несчастного, в том числе его „Ореста и Электру“. Голова Ореста, похожая на Гамлена, прекрасна, уверяю вас... голова и плечо великолепны... Старьевщик мне сказал, что он продает эти холсты художникам, которые заново будут писать на них свои картины... Бедняга Гамлен! Из него, быть может, выработался бы первоклассный живописец, не займись он политикой.

— У него была душа преступника! — возразил гражданин Блез. — Я вывел его на чистую воду вот на этом самом месте, еще в ту пору, когда он не давал воли своим кровожадным инстинктам. Этого он никогда не мог мне простить... О, это был редкий мерзавец!

— Бедняга! Он был искренен. Его погубили фанатики.

— Надеюсь, вы не станете оправдывать его, Демай?.. Ему нет оправдания.

— Да, гражданин Блез, ему нет оправдания.

Гражданин Блез похлопал красавца Демай по плечу.

— Времена изменились. Теперь, когда Конвент зовет изгнанников обратно, вас можно называть „Барбару“... Знаете, Демай, что мне пришло в голову? Выгравировать-ка портрет Шарлотты Корде.

В лавку вошла закутанная в меха, высокая, красивая брюнетка и по-приятельски кивнула гражданину Блезу головой. Это была Жюли Гамлен; но она уже не носила этой обесчещенной фамилии, она называла себя вдовой Шассань, и под пубкой на ней была надетая красная туника в честь красных рубашек эпохи террора.

Сначала Жюли испытывала недобрые чувства к любовнице Эвариста: все, что имело какое-либо отношение к брату, было ей ненавистно. Но гражданка Блез после смерти Эвариста приютила его несчастную мать в каморке под самой крышей „Амура-Художника“. Жюли на первых порах тоже нашла там убежище, затем она получила место в модной лавке на Ломбардской улице. Коротко остриженные в стиле „жертвы гильотины“ волосы, аристократическая внешность, траур привлекали к ней симпатии золотой молодежи. Жан Блез, которого Роза Тевенен бросила почти совсем, стал проявлять к ней усиленное внимание, и она не отказывалась от его ухаживаний. Как в прежние трагические дни, Жюли любила одеваться в мужской костюм: она заказала себе щегольской фрак и часто отправлялась с огромной тростью в руке в Севр или в Медон поужинать там со знакомой модисткой в каком-нибудь кабачке. Мужественная Жюли все еще не могла утешиться после смерти молодого дворянина, чье имя она носила, и только в ярости находила некоторое облегчение своей скорби: встречая якобинцев, она натравливала на них прохожих, настаивая на расправе с ними. Матери она уделяла мало времени, и та, одна в своей каморке, по целым дням перебирала четки: трагическая гибель сына до того потрясла ее, что она даже не чувствовала горя. Роза также стала близкой подругой Элоди, которая обладала способностью отлично уживаться со своими „мачехами“.

— Где Элоди?—спросила гражданка Шассань.

Жан Блез отрицательно покачал головой. Он никогда не знал, где его дочь: это было правилом, которого он твердо держался.

Жюли зашла за ней, чтобы вместе отправиться к Розе Тевенен, в Монсо, где у актрисы был маленький домик с английским садом.

В Консьержери Роза Тевенен познакомилась с гражданином Монфором, занимавшимся крупными поставками на армию. Когда ее благодаря хлопотам Жана Блеза выпустили на свободу, она добилась освобождения гражданина Монфора, и тот сейчас же по выходе из тюрьмы занялся поставками провианта в воинские части, а также стал скупать земельные участки в квартале Пепиньер. Архитекторы Леду, Оливье и Вайи настроили там целый ряд хороших домиков, и в каких-нибудь три месяца цена земли поднялась втрое. Монфор со времени совместного заключения в Люксембурге был любовником Розы Тевенен: он подарил ей маленький особняк близ Тиволи, на улице Роше. Особняк этот стоил больших денег, но Монфору, можно сказать, достался даром, так как продажа соседних участков с излишком покрыла все расходы. Жан Блез был человек воспитанный: он полагал, что надо мириться с тем, чему мы не в силах воспрепятствовать: он уступил Розу Тевенен Монфору без ссоры.

Вскоре после прихода Жюли в лавку спустилась нарядно разодетая Элоди. Несмотря на мороз, на ней под шубкой было надето открытое платье из белой ткани; лицо ее побледнело, талия стала тоньше, глаза светились томностью, и все ее существо дышало сладострастием.

Обе женщины отправились к Розе Тевенен, которая ждала их. Демаи поехал с ними: актриса, обставляя свой особняк, пользовалась его советами, а он любил Элоди, которая уже почти решилась избавить его от дальнейших мук ожидания. Когда они проезжали мимо Монсо, где под слоем извести были зарыты казненные на площади Революции, Жюли заметила:

— Пока стоят холода, это еще ничего; но весной трупный запах отравит половину города.

Роза Тевенен приняла подруг в гостиной, выдержанной в античном стиле; все диваны и кресла были исполнены по рисункам Давида. По стенам, над статуями, над бюстами, над канделябрами, раскрашенными под бронзу, висели одноцветные копии с римских барельефов. Актриса носила белокурый, цвета соломы, парик в бужлях. По парикам в ту эпоху сходили с ума: их клали по шести, по две-



надцати, по восемнадцати штук в свадебные корзины. Платье в „кипридином“ стиле, узкое, как чехол, облегалo ее тело.

Накинув на плечи манто, она повела обеих приятельниц и гравера в сад, который разбивали по плану Леду, но в котором пока были свалены голые деревья и груды щебня. Тем не менее она показала им Фингалов грот, готическую часовню с колоколом, храм, поток.

— Здесь,— вздохнула она, подводя гостей к группе елей,— я хотела бы воздвигнуть кенотаф в память несчастного Бротто дез-Илетта. Я была к нему не совсем равнодушна. Это был очаровательный человек. Изверги убили его: я пролила немало слез. Демай, вы нарисуете мне урну на колонне.

И почти сейчас же вслед за тем прибавила:

— Ужасно... я хотела дать бал на этой неделе, но все скрипачи приглашены за три недели вперед. У гражданки Тальен танцуют каждый вечер.

После обеда коляска Розы Тевенен отвезла трех приятельниц и Демай в театр Фейдо. Там собралось все, что было наиболее изящного в Париже: женщины, причесанные в стиле „античном“ или в стиле „жертвы“, в сильно декольтированных платьях, пурпурных или белых, усеянных золотыми блестками, мужчины в высоких черных воротниках и в широких белых галстуках, в которых утопали подбородки. В этот вечер ставили „Федру“ и „Собаку садовника“. Весь зал потребовал исполнения „Пробуждения народа“ — гимна, любимого щеголями и золотой молодежью.

Взвился занавес, и на сцену вышел толстый, низкорослый человек: это был знаменитый Лаис. Прекрасным тенором он спел:

Народ французский, все мы братья!

Раздался такой гром рукоплесканий, что зазвенели хрустальные подвески люстры. Затем послышался невнятный ропот, и голос какого-то гражданина в круглой шляпе ответил из партера „Гимном марсельцев“.

Вперед, сыны отчизны милой!
День вашей славы засверкал...

Ему не дали кончить. Раздались свистки и крики:

— Долой террористов! Смерть якобинцам!

И Лаис, вызванный еще раз, снова спел гимн термидорианцев:

Народ французский, все мы братья!

В зрительных залах решительно всех театров на колонне или на цоколе стоял бюст Марата; в театре Фейдо этот бюст возвышался на пьедестале в одной из ниш, расположенных по обе стороны рампы.

Во время исполнения оркестром увертюры из „Федры и Ипполита“ какой-то молодой щеголь крикнул, указывая на бюст концом трости:

— Долой Марата!

И весь зал подхватил:

— Долой Марата! Долой Марата!

Из общего гула вырвались отдельные красноречивые возгласы:

— Позор, что этот бюст еще здесь!

— Гнусный Марат, к стыду нашему, дарит еще повсюду! Количество его бюстов не меньше количества голов, которые он хотел отсечь.

— Ядовитая жаба!

— Тигр!

— Черная змея!

Вдруг какой-то фронт взбирается на выступ ложи, толкает бюст и сбрасывает его. Осколки гипса падают на головы музыкантам под рукоплескания всего зрительного зала, который подымается и стоя поет: „Пробуждение народа“:

Народ французский, все мы братья!

Среди наиболее восторженных певцов Элоди узнала красивого драгуна Анри, прокурорского писца, свою первую любовь.

После спектакля красавец Демай позвал кабриолет и отвез гражданку Элоди к „Амуру-Художнику“.

В коляске молодой человек взял руку Элоди в обе руки:

— Верите вы, Элоди, что я вас люблю?

— Верю, потому что вы любите всех женщин.

— Я люблю их в вашем лице.

Она улыбнулась.

— Я взяла бы на себя нелегкую задачу, даже несмотря на модные теперь черные, белокурые и рыжие парики, если бы решилась заменять вам женщин всех типов.

— Элоди, клянусь вам...

— Что? Клятвы, гражданин Демай? Либо вы меня считаете наивной, либо вы сами слишком наивны.

Демай не пашелся что ответить, и она с удовольствием подумала, что он от нее без ума.

На углу улицы Закона они услышали пение и крики; вокруг костра шевелились какие-то тени. Это была куча щеголей, которые по выходе из Французского театра сжигали чучело, представлявшее Друга Народа.

На улице Оноре кучер задел шляпой карикатурное изображение Марата, повешенное на фонаре.

Придя в веселое настроение, возница обернулся к седокам и рассказал им, как накануне продавец trebuхи на улице Монторгейль вымазал кровью бюст Марата, приговаривая: „Это он любил больше всего на свете“; как затем десятилетние мальчишки бросили бюст в сточную канаву и как присутствовавшие при этом граждане воскликнули: „Вот его Пантеон!“

Во всех ресторанах и у всех торговцев лимонадом, мимо которых они проезжали, публика пела:

Народ французский, все мы братья!

Когда они очутились у ворот „Амура-Художника“, Элоди, выпрыгнув из кабриолета, сказала:

— Прощайте!

Но молодой человек так нежно, так настойчиво и вместе с тем так кротко стал умолять ее, что у нее не хватило решимости захлопнуть перед ним дверь.

— Уже поздно,— сказала она.— Я впусти вас только на минутку.

В голубой спальне она сбросила шубку и осталась в белом „античном“ платье, обрисовывавшем ее формы и согретом ее телом.

— Может быть, вам холодно?— спросила она.— Я разведу огонь: дрова уже приготовлены.

Она высекла огонь и положила горящую лучинку в камин.

Филипп заключил Элоди в объятия с тою нежной осторожностью, которая свидетельствует о силе, и это доставило ей какое-то особое удовольствие. Уже почти не сопротивляясь его поцелуям, она вдруг высвободилась из его рук.

— Оставьте меня!

Стоя перед каминным зеркалом, она медленно сняла шляпу, затем взглянула с грустью на кольцо, которое носила на безымянном пальце левой руки, маленький серебряный перстенок со сплю-

щенным, полустертым изображением Марата. Она смотрела на него, пока слезы не затуманили ей глаз, потом тихонько сняла его и кинула в огонь.

И лишь после этого, улыбаясь сквозь слезы, похорошев от нежности и любви, она бросилась в объятия Филиппа.

Было уже далеко за полночь, когда гражданка Блез отперла своему любовнику дверь квартиры и шепнула ему в темноте:

— Прощай, любовь моя! Сейчас должен вернуться отец. Если ты услышишь шаги на лестнице, быстро поднимись этажом выше и не спускайся, пока не убедишься, что всякая опасность миновала. Внизу постучи три раза в окно привратнице: она выпустит тебя на улицу. Прощай, жизнь моя! Прощай, моя душа!

Последние угли догорели в камине. Элоди, счастливая и усталая, бессильно опустила голову на подушку.



АНАТОЛЬ ФРАНС
и ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Роман Анатоля Франса «Боги жаждут» посвящен наиболее драматическому периоду великой буржуазной революции во Франции конца XVIII века,— периоду диктатуры мелкобуржуазной партии якобинцев во главе с Робеспьером.

Анатоль Франс, один из самых выдающихся писателей мировой литературы, первоначально выступил как критик современной ему католической реакции во Франции, свирепствовавшей после поражения Парижской коммуны и позднее с особой силой расцветшей во время так называемого дела Дрейфуса, которому он посвятил вышедшую в 1897—1901 гг. четырехтомную «Современную историю». В исторических романах, посвященных античному миру, Анатоль Франс противопоставляет жизнерадостное мироощущение античности мрачному изуверству, аскетизму и догматизму католической церкви и христианства вообще. Характерной чертой Анатоля Франса постепенно становится философский и исторический скептицизм. Правда, в «Современной истории» он пытался противопоставить реакционным тенденциям капитализма французской республики мечты о социализме; но эти мечты носят абстрактный и платонический характер; они оторваны от реальной классовой борьбы современной ему эпохи.

В следующем своем произведении «Остров пингвинов» (1908 г.) А. Франс дает беспощадную, издевательскую пародию на всю человеческую историю, видя в ней торжество грубых, бессмысленных сил. Вместе с тем, он со страхом приглядывается к разгоревшейся в предвоенные годы во Франции с небывалой силой классовой борьбе пролетариата. Грандиозное забастовочное движение, захватывавшее, наряду с основными группами пролетариата, на этот раз также и значительные слои интеллигенции (учителя, почтово-телеграфные служащие и т. д.),— движение, в значительной мере вдохновлявшееся примером буржуазно-демократической революции в России и героической борьбой российского пролетариата в 1905—1907 гг.,— поставило перед Франсом во весь рост проблему грядущей революции, которая пугала его своими насилиями и казалась ему опасной для старой культуры. С целью «развенчать» революцию как метод разрешения грозных обще-

ственных противоречий, и взялся Анатоль Франс за изучение французской буржуазной революции периода ее наивысшего подъема. Результатом этого изучения и этой установки и явился вышедший в 1912 г. роман «Боги жаждут».

Характерно уже само название романа, определяющее его основную задачу. Согласно античной мифологии, когда «Боги жаждут», должна проливаться и проливается кровь. Действительно, революция, в изображении Франса,— это, в первую очередь и главным образом, пролитие крови, террор, гражданская война, притом, пролитие крови — в значительной мере ненужное, бессмысленное или являющееся результатом личных честолюбий и интриг. За пугающим и отталкивающим писателя террором и насильем вообще он не видит ни классовых движущих сил революции, ни ее огромных, не только разрушительных по отношению к феодально-монархическому строю, но и творческих сил, самым радикальным образом расчищающих почву для торжества нового для того времени общественного строя — капитализма.

В этом отношении любопытно сравнить «Боги жаждут» с другим знаменитым и популярным романом, посвященным тому же периоду французской буржуазной революции,— романом Виктора Гюго «Девяносто третий год». При всей ограниченности мелкобуржуазного романтизма Гюго, при всем непонимании им подлинного исторического характера французской революции конца XVIII в., Гюго умел схватить и передать великий трагический пафос революции. Он даже хватил через край в этом направлении. Для него такие вожди революции, как Робеспьер и Марат,— мифические титаны, в которых нет обычных человеческих черт. Наоборот, Анатоля Франса интересуют по преимуществу прозаические будни революции. Его герои — маленькие рядовые участники и современники революции. Это, вообще говоря, отнюдь не понижает художественно-исторической ценности романа, так как ряд мелких бытовых подробностей, описанных в реалистических тонах, помогает читателю, в общих чертах знакомому с ходом революции, восстановить в конкретных картинах и образах ее повседневную жизнь в период якобинского террора, по крайней мере, в некоторых социальных кругах Парижа.

Но если судить о всем этом периоде, основываясь исключительно на романе Франса и высказываниях действующих лиц этого романа, то получится искаженное, ограниченное и одностороннее представление о периоде высшего подъема революции.

Прежде всего, следует отметить то, что является наиболее характерным и решающим для французской революции конца XVIII в. и что затушевывается сознательно или бессознательно Анатодем Франсом: это — огромная роль народных, плебейских масс в революции. На эту роль народных масс, или «плебса», французской революции указал Энгельс в письме к Каутскому от 20 февраля 1889 г., где он критиковал его статьи о противоречиях классовых интересов в революции. Энгельс писал: «Буржуа на этот раз, как и всегда, были слишком трусливы, чтобы отстаивать свои собственные интересы... начиная с Бастилии, плебс должен был выполнять

за них всю работу; ...без его вмешательства 14 июля, 5—6 октября, 10 августа, 2 сентября и т. д. старый порядок неизменно одерживал бы победу над буржуазией, коалиция в союзе с двором подавила бы революцию... таким образом, только эти плебеи и совершили революцию» *.

Грандиозные победы якобинской диктатуры могли быть осуществлены только благодаря активной поддержке широчайших народных масс.

На фронтах республике приходилось отражать наступление армий европейской коалиции, возглавлявшейся Англией. Внутри страны — Париж был окружен кольцом грозных контрреволюционных восстаний, частично субсидированных англичанами, которые не брезгали даже выпуском фальшивых ассигнаций, с целью еще более подорвать курс денег и тем самым усилить дороговизну и голод в стране. Восстал крупнейший промышленный центр Лион, где жирондисты, в блоке с монархистами, ввели свирепый белый террор против революционеров. Восстала морская крепость Тулон, при прямой поддержке английского флота. Восстали Марсель, Тулуза и ряд других городов и областей. Углублялось начавшееся еще при власти жирондистов контрреволюционное кулацкое восстание в Вапдее, во главе которого стали дворяне-монархисты и священники. В стране росла продовольственная разруха, дороговизна, моментами — прямой голод, которые, помимо общих причин внешней и гражданской войны, вызывались сознательным саботажем и спекуляцией буржуазии. И вот, при таких условиях, якобинцы нашли в себе такую силу, революционную страсть и уверенность в победе, нашли такую поддержку широких плебейских и бедняцких масс города и деревни, что проявили подлинные чудеса революционной энергии: произвели полную реорганизацию армии, омолодив и демократизировав ее командный состав, создали военную промышленность, подавили контрреволюционные восстания и, нанеся ряд поражений армиям коалиции интервентов, вытеснили их за пределы Франции и сами перешли в наступление против монархической Европы.

Между тем Анатоль Франс видит лишь пассивность народных масс. Правда, в одном месте он сам как бы в изумлении останавливается перед загадкой создания в разоренной и раздираемой гражданской войной стране целых двенадцати армий, посланных на фронт. Он не понимает, что без поддержки масс никакая революционная диктатура не способна была бы на подобный подвиг. Отметив это загадочное для него явление, он проходит мимо, чтобы снова запыться будничными делами своих героев и особенно психологией главного из них, художника Эвариста Гамлена, попавшего в присяжные заседатели Революционного трибунала и ставшего одним из винтиков грозной машины революционного террора.

Основной задачей книги Франса является именно борьба против якобинского террора и подчеркивание его мнимой бессмысленности. И это характерно для всей концепции революции у Анатоля Франса. Ему недоступна мысль, признанная даже многими буржуазно-демократическими историками, что именно революционный террор спас Францию от торжества

* „Историк-марксист“ 1933, № 2 (30), стр. 42.

интервенции и от полной реставрации старого режима, что, дав буржуазной республике внешние победы, упрочив ее существование, революционный террор помог выкорчевать ненавистные остатки феодализма во Франции и тем самым подготовил социальную почву для дальнейшего развития капитализма. С другой стороны, хотя Анатоль Франс вынужден признать сочувствие революционному террору со стороны народа, наполнившего зал трибунала, он не понимает, что террор французской революции и революционного правительства являлся именно плебейской, народной формой расправы с классовыми врагами революции.

«Господство террора во Франции,—писал Маркс еще в 1847 г.,—могло поэтому послужить лишь к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции. Буржуазия, с ее тревожной осмотрительностью, не справилась бы с такой работой в течение десятилетий. Кровавые действия народа лишь выровняли ей, следовательно, дорогу»*. Революционный террор был направлен против монархистов, против жирондистов, против генералов — изменников или трусов, наконец, против спекулянтов, наживавшихся на народном голоде. Ибо якобинская диктатура в разгар войны, внешней и внутренней, вынуждена была разрешать и целый ряд социальных проблем, шедших навстречу требованиям широчайших масс. Только якобинская диктатура в Конвенте разрешила в буржуазно-демократическом духе аграрный вопрос во Франции, уничтожив социальные основы феодализма. Только якобинская диктатура ввела, по требованию масс, так называемый максимум, т. е. твердые цены на продукты питания.

О значении революционного террора и связи его с массами Ленин писал: «Чтобы быть конвентом, для этого надо смель, уметь, иметь силу наносить беспощадные удары контрреволюции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, чтобы власть была в руках самого передового, самого решительного, самого революционного для данной эпохи класса. Для этого надо, чтобы он был поддержан всей массой городской и деревенской бедноты (полупролетариев). Для этого нужна беспощадная расправа с контрреволюционной буржуазией прежде всего»...** В частности, о якобинцах и их революционном значении Ленин высказывался с большим уважением: «Якобинцы 1793 года вошли в историю великим образом действительно революционной борьбы с классом эксплуататоров со стороны взявшего всю государственную власть в свои руки класса трудящихся и угнетенных»***. Вообще о французской революции этого периода Ленин писал: «Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения т. V, стр. 206. ГИЗ, 1929.

** В. И. Ленин, Сочинения, т. XXI, стр. 51. ГИЗ, 1927.

*** Там же, т. XX, стр. 506. ГИЗ, 1927.

буржуазии, интересам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, прикрываясь словами о свободе, равенстве и братстве»*.

В тисках безвыходных противоречий между контрреволюционной буржуазией и ее политическими агентами в Конвенте, с одной стороны, и голодающими и революционными массами, мечтавшими о недостижимом экономическом равенстве, но лишенными вождей и не доверявшими больше правительству Робеспьера, с другой,—правительство Робеспьера вынуждено было погибнуть. В этом — трагический смысл якобинской диктатуры. Но всей глубины этой трагедии, трагедии классовой, социальной не видит и не понимает Анатолий Франс. Для него все дело — в ошибках, действительных или мнимых, и слабостях вождей революции. Марата, этого пронзительного и бдительного «друга народа», Франс считает настолько «тщеславным и легковерным», что группа капиталистических хищников и спекулянтов из Ост-Индской компании надеялась приобрести его содействие своим темным делам при помощи грубой лести и фамильярности. Робеспьер в изображении Франса — ограниченный узкий фанатик, проводящий в своей политике «тонкую, прямую черту, вне которой, направо и налево, только заблуждение, преступление и злодейство». Исходя из того, что Робеспьер в последние дни своей жизни действительно обнаружил колебания и нерешительность, делается вывод, что он — «говорун... неспособный на быстрое решение, на революционный шаг».

Наконец, Анатолий Франс подчеркивает и преувеличивает пассивность масс в момент термидорианского переворота. По его мнению, интеллигентски-буржуазным составом Парижской коммуны «почти исчерпывается все, что есть в Париже подлинно республиканского. Они сгрудились в ратуше, как на скале свободы, окруженные со всех сторон океаном равнодушия». Несколько далее он в следующих словах характеризует настроение буржуазного Парижа после падения Робеспьера: «Париж, огромный и прекрасный, радостно улыбался солнцу; надежда воскресала в сердцах узников; торговцы весело открывали лавки, буржуа чувствовали себя богаче, молодые люди — счастливее, женщины — красивее, и все это — благодаря падению Робеспьера. Только горсточка якобинцев, несколько священников, присягнувших конституции, да десяток старух трепетали при мысли, что власть перешла в руки людей дурных и порочных».

Вынужденный упомянуть о восстании секций, поднятом Коммуной в защиту арестованного Робеспьера и его единомышленников, Анатолий Франс уменьшает его размеры, придает ему почти опереточный характер и умалчивает о том, что, несмотря на разочарование рабочих политикой Робеспьера, именно пролетарские секции Парижа составляли ядро восставших, самую главную и мужественную их часть, и последними ушли с Гревской площади, когда выяснилась неудача восстания.

Введенный Робеспьером «Култ высшего существа», которым он скомпрометировал себя, и даже отчасти сделал себя смешным в глазах многих представителей революционной мелкобуржуазной интеллигенции,— является для

* В. И. Ленин, Сочинения, т. XXIV, стр. 304. Партиздат, 1932.

Анатolia Франса лишь дополнительной черточкой в характеристике его общего политического и идейного фанатизма. Для него это был такой же официальный возврат к религии, как деятельность революционного трибунала, по его мнению, была возобновлением старой монархической традиции. «В основе деятельности революционного трибунала,— пишет Франс,— лежала старая монархическая идея—государственного блага. Восемь веков самодержавной власти наложили печать на этих судей, и они судили врагов свободы, исходя из принципов божественного права». Здесь, таким образом, к мелкобуржуазному гуманизму и скептицизму Анатолия Франса, которые так отталкивали его от насилий революции, присоединяется еще специфически интеллигентский апархизм, который не проводит различия между идеей «государственного блага» при самодержавной монархии и при рождении буржуазно-демократической республики, истекающей кровью в борьбе с внешними и внутренними врагами.

Характерно, что наиболее близким по духу к самому автору героем его романа является некий «гражданин Бротто», бывший дворянин и богатый спекулянт, разоренный революцией, живущий на чердаке и добывающий себе пропитание изготовлением бумажных клоунов. Материалист и атеист (атеизм некоторых групп предреволюционной буржуазной интеллигенции и даже дворянства, по мнению Франса, выгодно отличает их от религиозного «деизма» Робеспьера), невозмутимый философ и скептик, любитель античной древности, не расстающийся с томиком любимого римского поэта-материалиста Лукреция, Бротто является умным наблюдателем революции, которая кажется ему лишь наиболее ярким актом комедии всемирной истории. Нет никакого сомнения, что устами Бротто говорит сам автор, нередко, быть может, даже бессознательно для себя. Во всяком случае, все его идейные симпатии на стороне этого старика, обладающего,—кроме едкого, скептического ума,—также и добрым сердцем.

Этому мудрому скептику противопоставлен страстный фанатик революции и столь же страстный поклонник Робеспьера—молодой художник Эварист Гамлен. Сделав его присяжным заседателем Революционного трибунала, автор использует эту позицию для дискредитирования террора революции. Мало того, сам Гамлен незадолго до термидора начинает чувствовать не только утомление, но даже какое-то смутное разочарование в своей «кровавой» революционной работе и боится, что его деятельность в глазах потомства будет покрыта позором. В одной из последних бесед со своей возлюбленной Гамлен восклицает с болью в душе: «Элоди, решишься ли ты когда-нибудь подтвердить, что я был верен своему долгу, что помыслы мои были честны и душа честна, что я не ведал иной страсти, кроме стремления к общественному благу, что по натуре я был чувствительным и нежным? Скажешь ли ты: «Он исполнил свой долг»? Нет! Ты этого не скажешь. И я не прошу тебя об этом. Пускай бесследно исчезнет память обо мне. Вся моя слава схоронена у меня в сердце, окружает меня позор. Если ты меня любила, никогда не единым словом не упоминай обо мне». Но тут же, схватив на руки случайно оказавшегося возле них чужого ребенка, Гамлен воскликнул: «Дитя! Ты вырастешь свободным и счастливым человеком

и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, потому что хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, потому что хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, потому что хочу, чтобы завтра все французы, проливая слезы радости, упали друг другу в объятия... Малыш, когда ты станешь мужчиной, ты будешь обязан мне своим счастьем и невинностью. А между тем, услышав мое имя, ты предашь его проклятию».

Хотя в этой тираде изображены чувства и мысли поклонника Робеспьера, хотя автор пытался лишь дать нам образ искреннего и честного сторонника революционной диктатуры, тем не менее в той теплоте, которой обвеял образ Гамлена, чувствуется не только стремление автора к объективности, но и вынужденное признание художником трагического пафоса революции. Ее могучая сила захватывает на момент даже скептически и враждебно настроенного художника.

И всюду, где художественное чутье автора в оценке революционной эпохи помогает ему преодолеть его буржуазную политическую тенденцию и скептический индивидуализм, его общее непонимание законов революции и желание доказать ненужность и мнимую бессмысленную жестокость якобинской диктатуры,— во всех этих случаях роман Анатоля Франса дает ряд ярких, полных жизни картин революционной эпохи. Народная толпа в хвосте у хлебной лавки, огромное разнообразие типов из разных сфер и слоев тогдашнего французского общества, бывшие дворяне, буржуазные дельцы, примазавшиеся к революции монахи и священники, художники, отдельные рабочие, даже проститутки, тоскующие о старом режиме,— все они проходят перед нами живые, наполняя конкретным содержанием политическую историю революции. Поэтому «Боги жаждут» как художественно-историческое произведение, при всех своих бросающихся в глаза политических ошибках, не только читается с неослабевающим интересом, но, несомненно, помогает читателю, усвоившему марксистско-ленинскую оценку буржуазной революции конца XVIII в. и ее главных движущих сил и крупнейших деятелей, лучше представить себе конкретную обстановку революции и общий характер эпохи.

Б. Горев.

*Редактор Л. Я. Рейнгард.
Художественная редакция
М. П. Сокольников.
Литературно-технич. наблюд.
В. В. Чешихина.
Тех. ред. В. Д. Быренков.*

*Сдано в набор 14/III—36 г. Под-
писано в печать 31/VIII. 1936.
Тираж 20.800. Уполн. Главли-
та Б-21868. Зак. тип. № 599.
«Ас» 221. Инд. А-1. Вум.
82 × 110¹/₁₆. П. л. 13 + 18 вкл.
У. а. л. 12,9.*

*Отпечатано на фабрике книги
«Красный пролетарий» Парт-
издата ЦК ВКП(б) Москва,
Краснопролетарская, 16.*

*Цена Р. 6.00
Переплет Р. 2.00*

О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует:</i>
19	15 св.	в гражданину	к гражданину
114	15 св.	спаленьке	спаленке
159	11 св.	всего мира:	всего мира,
194	17 св.	поет: «Пробужде- ние народа»	поет «Пробуж- дение народа»

